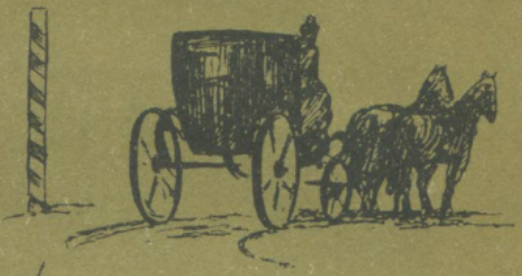
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ

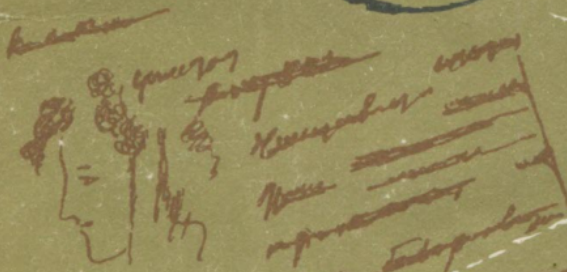
Молодая гвардия

1986

Юрий ОСИПОВ



Мезонин поэта



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Издательская аннотация отсутствует. ___ Сборник художественный очерков В.А. Жуковском, А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове

- ○
  ○
  ○
  ○
  ○ ВЕЧНОСТЬ МИХАЙЛОВСКОГО
  ○ МЕЗОНИН ПОЭТА
  ○ ПОРТФЕЛЬ ГОГОЛЯ
  ○ ЯБЛОКИ ИЗ САДА ДОСТОЕВСКОГО
  ○ ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД
  ○ СЧАСТЛИВОЕ МЕЛИХОВО
  ○ INFO
  ○

Библиотека
журнала
ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1986

Юрий Осипов

МЕЗОНИН ПОЭТА
Музейные эскизы

Москва
«Молодая гвардия»
1986

*

Художник Игорь СЕЛЕЗНЕВ

Издательство «Молодая гвардия»
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
1986 г. № 7 (218).

Музей в последние годы притягивает к себе, подобно магниту. В самом деле, кто откажется постоять в раздумье под соснами пушкинского Михайловского, подняться по скрипучим ступенькам в мезонин на московской Малой Молчановке, помнящей юного Лермонтова, своими глазами увидеть потертый старый портфель Николая Васильевича Гоголя, хранивший рукопись «Мертвых душ», подышать воздухом там, где жили Достоевский, Толстой, Чехов!..

Литература живо откликается на эту насущную потребность времени, и не случайно традиционные журналистские жанры сегодня взяты на вооружение теми, кто увлеченно рассказывает нам о мемориальных музеях, книгохранилищах, о вещах, звуках, красках, связанных с дорогими для нас именами.

Для молодого литератора Юрия Осипова интерес к «музейной теме» — давний и прочный. Его очерки часто печатаются в таких массовых периодических изданиях, как «Огонек», «Смена», «Юность», появляются на страницах фундаментального альманаха «Памятники Отечества». Автор умеет открыть новое в старом, казалось бы, общеизвестном, зримо представить личность художника на фоне его среды, окружения, рукописей, книг, рисунков, высветить узловые моменты судьбы, творчества. Вкус к выразительной предметной детали, строгий лиризм описаний органично сочетается в этих очерках с насыщенностью мысли.

Вопросы сохранения памятников культуры, которые автор поднимает в своей книге, сегодня волнуют нас как никогда.

Поэтому думается, что первая книга Юрия Осипова привлечет внимание читателей.

Евгений ОСЕТРОВ

ДОРОЖНЫЕ АЛЬБОМЫ

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет.
Но с благодарностию: были.

В. А. Жуковский

Два века, минувшие в 1983 году со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, подтвердили правоту пушкинского пророчества: «Его стихов пленительная сладость // Пройдет веков завистливую даль…»

Великий русский поэт и «учитель поэтов», первый наш романтик, познакомивший читающую Россию с сокровищницей западноевропейской и восточной лирики, был к тому же еще и профессиональным мастером-рисовальщиком. Его обширное изобразительное наследие (можно сослаться на обстоятельную работу П. Корнилова «Офортные занятия В. А. Жуковского») изучено далеко не полностью. В свое время сын поэта, Павел Васильевич, передал Публичной библиотеке свыше тысячи рисунков отца. Сотни других офортов, гравюр, литографий и акварелей Жуковского рассеяны по разным собраниям.

Томский университет, где хранится богатейшая библиотека Василия Андреевича, включающая книги с пометами Пушкина,

Гнедича, Батюшкова ну и, конечно, самого владельца, выпустил недавно ее научное описание. Теперь черед за каталогом графики Жуковского, собранной на обширной юбилейной экспозиции.

Подобной выставки Москва не видела давно, с 1902 года, когда торжественно отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Гоголя и Жуковского, двух друзей, ушедших почти одновременно. Та выставка была развернута в залах Исторического музея. И вот ее раритеты встретились вновь под сводами отреставрированного особняка в Трубниковском переулке. А рядом — столь же ценные экспонаты из фондов Литературного, Исторического и Русского музеев, Всесоюзного музея А. С. Пушкина.

Трех лет кропотливого труда, объединенных усилий четырех ведущих музеев в Москве и Ленинграде потребовала подготовка этой экспозиции. Причем за пределами ее остался огромный массив рисунков Жуковского в Ленинградской академии художеств, Пушкинском доме, Эрмитаже…

Поистине символично, что графика Жуковского украсила ныне стены, некогда хранившие знаменитую остроуховскую коллекцию живописи. И не где-нибудь, а в полном литературных преданий уголке старой Москвы. Мы узнаем неповторимый облик этих домов и улиц на рисунках поэта, как узнаем на них Лужники, Симонов монастырь, пруд, в который бросилась бедная Лиза в повести Н. Карамзина…

Но все это только одна сторона изобразительного творчества Жуковского. Другая дополняет его стихи, дневники, письма, помогая нам лучше понять внутренний мир поэта.

Он рисовал незабываемое

Рисунки Жуковского доносят до нас живой образ его сердечных привязанностей, памятные ему места и события. Подчас трагические.

«Пушкин на смертном одре»… Вглядываешься в скупые штрихи и невольно начинаешь шептать мерные строфы траурного гекзаметра:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив, голову тихо склоня…

…Николай Васильевич Гоголь, задумавшись, присел на край невысокой каменной ограды, чуть повернув в нашу сторону мягко очерченное лицо. Глаза слегка прищурены, волнистые волосы отброшены со лба. Через несколько дней ему исполнится

тридцать.

Это один из лучших портретов создателя «Мертвых душ».

«Мы с Жуковским на лету рисовали виды Рима, — сообщал Гоголь Данилевскому и восторженно прибавлял, что Жуковский «в одну минуту набрасывал по десятку рисунков, чрезвычайно верно и хорошо».

В субботу, едва вырвавшись из карнавального водоворота на Corso, Василий Андреевич снова рисовал своего друга. Он изобразил его в профиль, разговаривающим с С. П. Шевыревым и З. А. Волконской на аллее, ведущей к вилле. По этому рисунку можно судить о росте писателя, его фигуре, костюме.

Лукавый нежный профиль Маши Протасовой. Надломленная болезнью фигура любимой женщины. Печальная могила. В трех мимолетных рисунках — целая история жизни, волнующая и прекрасная.

Он любил, но вынужден был пожертвовать своей любовью, находя утешение в стихах и письмах. «Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось». А рядом: «На свете много прекрасного и без счастья»… Заветрые рисунки словно сопровождают беспримерное по силе и благородству послание к другу, «К Мойеру»:

Счастливец! Ею ты любим.
Но будет ли она любима так тобою,
Как сердцем искренним моим,
Как пламенной моей душою!
Возьми ж их от меня и страстию своей
Достоин будь судьбы своей прекрасной!
Мне ж сердце, и душа, и жизнь, и все
напрасно,
Когда нельзя всего отдать на жертву ей.

Дорогие и близкие ему люди чередой проходят на рисунках Жуковского. Пленная турчанка Сальха, мать поэта, дряхлая Е. А. Протасова в кресле, дети ее старшей дочери Александрины, сестры Маши, шутливая карикатура Мойера за фортепиано, «галоппирующего на Бетговене»…

«…Хочу у подошвы швейцарских гор посидеть на том… холме, на коем стоял наш мишенский дом со своею смиренною церковью, на коем началась моя поэзия Греевой элегией», — пишет Жуковский в 1821 году родственнице и подруге детских лет А. П. Зонтаг (Юшковой).

Тульский край, которому суждено было стать истоком жизненного и творческого пути великого поэта, олицетворял для

него понятие Родины. Мощное патриотическое чувство участника Бородинского сражения рождало звучные строки «Певца во стане русских воинов», проникновенные лирические миниатюры, насыщенные конкретными приметами родных мест. Серии непритязательных зарисовок Белева, Мишенского, Муратова, Протасовых, соседнего Долбина, известных литераторов братьев Киреевских — тоже вдохновенная песнь во славу отчего края, воскрешающая «минувших дней очарованье».

Образ мечты

«Отрок Белева» еще не раз приедет сюда — отдохнуть от житейских скитаний, побродить приокскими плесами, помечтать в «Греевой беседке».

«Магический кристалл» возвращал поэту Прошлое вдали от родных мест. Он рисовал их по памяти, по памяти описывал в стихах, стремясь вплотную приблизиться к предмету изображения.

Поэзия преломляла действительность, графика давала ее зеркальное отражение.

…смотрю с тоской
С волнением непобедимым
На белые сии листы.
И мнится: перстом невидимым
Свои невидимы черты
На них судьба уж написала.

Его тревожила и манила вечная тайна искусства — магия рождения образа. Рисунки были нужны ему, как гаммы пианисту и вместе с тем как камертон души. Они текли из-под пальцев, удерживая неуловимое, изменчивое, сокровенное.

Но только не в себе самом. Тут уверенный контур обрывался.

Почему Жуковский, рисовавший столь многих, не оставил автопортрета, ограничившись лишь беглым наброском — со спины? Объяснение, и притом исчерпывающее, мы находим в стихотворении 1837 года, так и озаглавленном: «К своему портрету».

Воспоминание и я —
одно и то же:
Я образ, я мечта;
Чем старе становлюсь, тем я

Кажусь моложе.

Воспоминание обитало там, в Мишенском, сливаясь на рисунках с образом мечты.

«Главный живописец — душа»

Старший друг Жуковского Николай Михайлович Карамзин говорил, что весна не таила бы для него такую прелесть, если бы ее не описал Клейст.

Восприятие действительности через литературные реминисценции в духе традиций XVIII века отличает раннюю пейзажную лирику Жуковского, его бесчисленные рисунки романтических гротов, беседок, античных развалин, идиллические сельские картины.

Однако с годами художественная манера Жуковского-рисовальщика претерпевает существенную эволюцию. Лучше всего это можно проследить на примере «мишенского» цикла. От условной стилизации начальных работ, избегающих «некрасоты» и прозы окружающего мира, автор постепенно двигался к личностному видению натуры, к цельным, устоявшимся наблюдениям.

Менялась датировка шероховатых листов, менялся угол зрения, хотя изображенные на них места оставались все теми же. Рисунки приобретали большую пространственную глубину и объемность, делались более выразительными. В них проявлялись исторические и социальные реалии. Фиксация раздробленных черт действительности сменялась ее обобщенным психологическим портретом.

«Не надо подражать ни Ван Эйку, ни Мурильо, — замечает Василий Андреевич в письме к другу художнику и будущему тестю Г. Рейтерну, — надо изучать природу, надо благоговейно принять то, что она дает… Ибо природа не скупа, она дает щедрою рукою. И тогда художник не будет иметь манерности, жеманства. Всякая манерность есть, я полагаю, ошибка».

Из стороннего наблюдателя и меланхоличного регистратора действительности Жуковский превращается в художника, который «видит природу собственными глазами, охватывает собственною своею мыслью и прибавляет к тому, что она дает, кроющееся в его душе». «Главный живописец — душа». Эта дневниковая запись, пожалуй, наиболее точно характеризует Жуковского-рисовальщика, и этим Жуковский-рисовальщик

смыкается с Жуковским-поэтом.

В льющихся, переходящих одна в другую плавных линиях его офортов покоряет какая-то особая просветленная напевность — отражение кристальной душевной чистоты, то в высшей степени развитое в нем чувство изящного, тот неброский артистизм, которыми исполнена неувядаемая поэзия Жуковского.

Излюбленная натура художника в «мишенском» цикле — панорамные пейзажи, где автор сплетает прихотливые узоры из контуров деревьев и построек, поражая современников «верностью взгляда, умением выбирать точки, с которых он представляет предметы, и мастерством схватывать вещи характеристически, в самых легких очерках».

Высокий холм, увенчанный кронами тополей. На переднем плане — стог сена. Выглядывающая из-за него повозка оживляет пейзаж: безлюдный, он напоминает о близком присутствии человека.

А вот лесной ручей, неторопливо петляющий среди стройных сосен.

Ручей, вьющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!..

Еще один офорт. Широкий луг, раскинувшийся подле холма с виднеющейся на нем усадьбой. Уходящая вдаль дорога, два ряда деревьев по краям, темнеющая на горизонте полоска леса создают ощущение простора, воздуха.

Своего рода иллюстрацией к элегии «Сельское кладбище», положившей начало поэтической славе Жуковского, воспринимается рисунок кладбища в Мишенском.

Под кровом черных сосн и вязов
наклоненных…

Листы этой серии дают зримое представление о том, как выглядели неуцелевшее имение А. И. Бунина, отца поэта, исчезнувшая усадьба Киреевских, несохранившиеся достопримечательности и ландшафты здешних мест.

После 1839 года работы «мишенского» цикла мало-помалу заселяются людьми. Многолюдными становятся виды Белева, Тулы и прилегающих окрестностей. Особенно подробны изображения Тулы. Мы видим заставу на южной окраине города, сейчас изменившейся неузнаваемо, обелиски, шлагбаумы, городовых, попадаем на главную улицу, упирающуюся в кремль и

колокольню Успенского собора. Перспектива улицы, прохожие, присутственные учреждения, дома, церкви, располагавшиеся в районе теперешней площади Челюскинцев, — все это есть на рисунках Жуковского. Он скрупулезно воссоздает пышное архитектурное убранство погибшего Успенского собора в Тульском кремле, замечательного памятника русского зодчества второй половины XVIII столетия.

Перед нами возникает и пестрящая прохожими главная улица Белева, та часть города, что находится на крутом берегу Оки и украшена великолепным ансамблем Спасопреображенского и Христорождественского монастырей. В центре композиции, у дерева, фигура человека в созерцательной позе со скрещенными на груди руками. Быть может, самого художника, любующегося отсюда видом противоположного берега.

«Путешествие сделало меня рисовальщиком»

Изобразительному творчеству Жуковского иногда отводят роль «памяток из путешествий и поездок», в которых «карандаш заменял ему современную фотокамеру» (П. Корнилов).

Да, дворянское воспитание нередко завершалось познавательным путешествием, а в Московском университетском Благородном пансионе, где учился Василий Андреевич, как и в пушкинском Лицее, рисование преподавали наряду с серьезными науками и изящной словесностью. Без зарисовок с натуры не мыслилось возвышенное общение с природой. Руссоизм еще не успел стать мишенью насмешек и был моден.

Жуковский с юных лет умел читать увлекательную книгу путешествия, обогащать душу неслучайными впечатлениями и работать в пути. Нелегкому искусству этому он настойчиво и терпеливо обучал вверенных его попечению, будь то сестры Протасовы или наследник престола.

И все же, размышляя над уроками дальних странствий поэта, воплощенными в графике и путевых дневниках, чувствуешь: неистовость и духовная насыщенность его, казалось бы, побочных занятий выше привычки воспитания. Тем более что дорога нередко служила ему прибежищем от горестей и невзгод.

«Путешествие сделало меня рисовальщиком». К этому утверждению Жуковского стоит присмотреться внимательнее.

Ответа на какой вопрос напряженно искал он в калейдоскопе городов и стран, в подробностях разнообразных ландшафтов? Какие сокровенные мысли и настроения пытался выразить в своих дорожных альбомах?

Ясно одно. В них он был совершенно свободен и им, случалось, доверял невыразимое в слове.

Исследователи указывали на музыкальность стиха Жуковского, но реже отмечали зримую выпуклость образов и форм, точно подобранные краски словесной палитры, реалистический пейзаж, «разом возвращающий читателя от грез и сновидений к действительности».

Важным подспорьем в их поиске являлись путевые дневники и рисунки.

«Посинелые горы; на них золотые облака; солнечный свет мешал; облака синие и озеро синее; но просветы полосами; по всем горам облака, как кудри;…горы все открыты, только по краям облака амфитеатром, как взбитая пена (или как вата по высоте их). Небо разорванное, осеннее».

Перед нами скорописный художнический конспект швейцарского пейзажа. На альбомных листах — его графический абрис.

А. Н. Веселовский писал о взаимосвязи Жуковского-рисовальщика и мастера словесной живописи: «Его привлекали виды… реже фигуры и лица; видно искание выразительности в позе, *искание правды* (курсив мой. — *Ю. О.)*. Здесь дополнением служит текст дневников; особенно дневник 1821 года представляет ряд красочных этюдов с натуры, зачерченных словом, нередко до мелочей».

«Искание правды». Ему было подчинено безупречное владение контуром. Не случайно дорожная серия рисунков неотступно сопровождает отрывистые записи дневника путешествия 1837 года, этот протокол суровой реальности крепостнической России, увиденной зорким взглядом художника.

«Ужасное состояние острога и больницы ссыльных. Болезни… Кожевенные заводы затопленные… Сторожевые караульни плетеные… Бедность деревень». Таковы записи одного дня в Тобольске, 2 июня. Спустя сутки Жуковский заносит в дневник: «Разговор о ссыльных… Мнение о допросах… После обеда — в тюремный замок». Под 4 июня читаем: «О поселенцах в Енисейской губернии… Железные копи. Остяцкие промыслы. Тобольск — бедный город». И снова: «Тюремный замок».

Серии дорожных рисунков Жуковского создают у зрителя ощущение их подлинной историчности и в то же время интимности. Поэтому они так притягательны. Несмотря на внешнюю суховатость, в них сосредоточен заряд эмоциональной информации, продолжающей корреспондировать нам из дымки прошлого.

Петербургские набережные, силуэты кораблей на Неве, веймарский домик Гёте, виды Раппало, Рима, Виндзора, Женевского озера, повторяющиеся на альбомных листах в поисках максимальной выразительности, — все это несет печать авторской индивидуальности, которую не спутаешь ни с какой другой. И даже популярный в английской живописи сюжет — скачки в Эпсоме — вдруг предстает здесь в необычном ракурсе, где динамика и азарт борьбы окрашены неприметной иронией.

Летопись встреч

«Жуковскому с неизменным восторгом и дружбой». Такую дарственную надпись сделал на своем портрете после встречи с русским поэтом крупнейший немецкий географ и естествоиспытатель А. Гумбольдт. Жуковским был очарован писатель-романтик Л. Тик. Ему уделял долгие часы бесед Гёте. Познакомиться с ним были рады видные европейские мыслители и художники.

Последние особенно занимали Жуковского. Художникам и художественным увлечениям он уделял все свободное от литературы время. В разные годы под руководством Н. Уткина, К. Зенфа, Л. Майделя, Ф. Иордана, Рейтерла Василий Андреевич осваивал технику рисунка, гравюры, литографии, постигал секреты сочетания красок. Он гордился умением работать с литографским камнем и пользовался любым случаем, чтобы пополнить свои и без того обширные знания в области живописи.

Приезжая в какой-либо город, Василий Андреевич первым делом спешил осмотреть тамошнюю картинную галерею и повидать местных художников. Он дружил с К. Брюлловым, А. Венециановым и в Риме чуть ли не ежедневно посещал мастерскую А. Иванова, вращаясь в кругу русской художественной колонии.

Вникать в тонкости своего «второго» ремесла, овладевать все новыми профессиональными навыками Жуковский не прекращал до самой смерти.

Многолетнее общение Жуковского с русскими и иностранными художниками было плодотворно еще в одном отношении. В Берлине, например, он сразу приметил А. Лозинского — тот сделает литографии его крымских пейзажей. В 1826 году поэт путешествует по Германии и Швейцарии с дерптским художником и гравером А. Кларой, подарившим ему на память несколько гуашей. В свою очередь, Василий Андреевич составил Кларе протекцию в Петербурге и дал воспроизвести

лучшие аквантины павловского альбома: дом Е. И. Нелидовой, ворота сада, Розовый павильон, развалины храма Аполлона… Слегка романтизированные и стилизованные, эти филигранные работы перекликаются с гатчинскими и царскосельскими офортами Жуковского из коллекции Рейтерна.

Наконец, дюссельдорфскому знакомому поэта — Гальдебранту мы обязаны одним из его самых удачных портретов.

…Он тоже рисовал друзей-художников, но чаще позировал им. От изображения к изображению облик Жуковского менялся, однако портреты эти порой обнаруживают неожиданные, пользуясь пушкинским выражением, «сближения».

Литография Е. Эстеррейха 1820 года со знаменитой дарственной надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила» сопровождала Пушкина и осталась висеть в его последней квартире на Мойке, 12. А посмертная маска Пушкина, возможно, та, первая, которую снимал приглашенный Василием Андреевичем скульптор Гальберг, отправилась с Жуковским в дальнюю дорогу.

Резец Ф. Вендрамини перенес на гравюру одухотворенный облик поэта с канонического оригинала О. Кипренского. На заднем плане — пейзаж «Двенадцати спящих дев» и других романтических баллад Жуковского.

Гравюра редкая, со знаменательной надписью-посвящением Василия Андреевича бывшему «арзамасцу» Уварову, на квартире которого проходили первые заседания «общества безвестных людей».

Кисти К. Брюллова принадлежит, вероятно, наиболее значительный портрет Жуковского. Не мечтательный юноша Кипренского, но умудренный житейским опытом и невзгодами стареющий человек, затаивший на дне глаз все ту же непреклонную решимость к добру, глядит на нас с этого полотна.

Судьба портрета необычна.

Василий Андреевич только что проводил в последний путь Пушкина, которого он любил как сына, как сына спасал и как сына оплакивал. Под неусыпным оком жандармов он разбирает и старается сохранить для потомства пушкинские бумаги (он же издаст вскоре первое посмертное издание пушкинских сочинений). Ложатся в портбювар черновик пространного письма к Сергею Львовичу, подробный план пушкинской квартиры, список друзей, присутствовавших при кончине, начатые конспективные заметки о преддуэльных днях… Тут же надо добиваться через Уварова разрешения печатать «Песню про купца Калашникова» и вызволять ее автора из первой ссылки на Кавказ

за элегию «На смерть поэта». Впереди — опасные хлопоты об облегчении участи ряда декабристов и сосланного в Вятку молодого Герцена.

И вот в довершение ко всему Жуковский совместно с Брюлловым и Венециановым добивается освобождения из крепостной неволи Тараса Шевченко, избрав для этого весьма необычный способ. Он просит Брюллова написать свой портрет и, предварительно сторговавшись с помещиком, разыгрывает его в частной лотерее у графа Виельгорского за две тысячи пятьсот рублей ассигнациями. «Этою ценою, — вспоминал Т. Г. Шевченко, — куплена была моя свобода в 1838 году, апреля 22».

Обнять своего избавителя Тарас Григорьевич не успел. В начале мая поэт распростился с холодным казенным кабинетом под самой крышей Зимнего дворца, в так называемом Шепелевском доме, и снова отправился в путешествие с наследником (на сей раз — последнее). Опять привычно потянулись за стеклом кареты холмы и равнины Германии, Швеции, Дании, Италии, Англии… Превозмогая возраст и подступавшие болезни, он все так же, как и прежде, встречал рассвет за письменным столом.

— Вдохновение — вещь хорошая, — говорил друзьям Василий Андреевич, — да только часто приходится начинать работать, не дожидаясь, когда оно явится. А как начнешь, глядишь, оно туг как тут…

Он по-прежнему много рисовал. Его дневники изобилуют острыми мыслями и наблюдениями, его письма из-за границы — образец путевого очерка.

В разгар новых трудов подоспела почетная отставка. Она назревала давно, и Василий Андреевич был к ней внутренне готов. Слишком часто призывал он «милость к падшим» в своп «жестокий век», слишком многим досаждал при дворе. Тысячный пансион давал поэту возможность продолжать главное дело последнего периода жизни — перевод Гомеровой «Одиссеи». Но и за этой титанической работой он не забывал про рисунки. Потребность в них еще больше возросла на чужбине, после поздней, столь заслуженно счастливой женитьбы.

На склоне лет пришлось подыскивать жилье. (Единственное собственное пристанище, домик в Холхе, давным-давно был продан.) И все же потеря неуютной квартиры в Зимнем огорчила Василия Андреевича куда меньше, нежели утрата традиционных субботних вечеров, собиравших цвет отечественной литературы.

Одна из таких «суббот» у Жуковского изображена на картине группы учеников Венецианова. Картина была заказана в подарок

хозяину П. А. Вяземским, однако так и застряла в его остафьевском имении.

На фоне интерьера просторного кабинета нетрудно узнать Крылова, Пушкина, Гоголя, Кольцова, Одоевского… Здесь и на вечерах у Одоевского Василий Андреевич свел Гоголя с Пушкиным. Отсюда пошла поэтическая известность Кольцова. Сюда, замирая, принес «Мечты и звуки» начинающий Некрасов и успел наведаться еще столь же робкий Тургенев… Отличаясь удивительным бескорыстием, Жуковский по-детски радовался каждому новому таланту, открытому им, как и в начале пути, свято исповедуя принцип: «Я должен возвысить, образовать свою душу и сделать все, что могу для других».

ВЕЧНОСТЬ МИХАЙЛОВСКОГО

Роняет лес багряный свой убор…

Пушкин А. С.

19 октября (1825, Михайловское)

Места, причастные к жизни гения, несут на себе особую печать. Названия их со временем обретают значение символа, впитывают огромный исторический и культурный смысл, делаются нарицательными. Судьба этих мест, подчас никому прежде не ведомых, сплетается с судьбой народа, отражает его путь, характер, устремления. И мы все пристальней всматриваемся в живое зеркало Михайловского и Ясной Поляны.

Михайловское — книга, требующая внимательного, вдумчивого чтения. Книга, написанная природой и вещами, окружавшими поэта. Поняв их язык, вы лучше поймете и его самого, по-новому воспримете с детства знакомые стихи. И то, что казалось вам в них до этого несущественным и малозначимым, вдруг обернется значимым и существенным. Холмы, озера, перелески, на которых задерживался взор поэта, откроют свою тайну, зазвучат музыкой пушкинской рифмы.

Нигде не встретишь здесь назойливых телеграфных столбов, не говоря уже о прочих приметах современной цивилизации. Пешком старой еловой аллеей Ганнибалов выходишь к пушкинскому дому. Деревянный, обшитый тесом, длиною ровно в восемь саженей, по фасаду в четырнадцать окон, он в точности такой, что когда-то приютил Пушкина. В строгом порядке, далеком от наивного реализма, смотрят на вас предметы, как бы согретые его прикосновениями: узенький французский бильярд в два шара, потертое кожаное кресло, помадная банка, заменявшая ему чернильницу…

И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,

И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет…

По дороге в Тригорское вам непременно захочется спуститься к «мельнице крылатой» на берегу неслышно текущей подо льдом Сороти. И долго еще вы будете разглядывать трогательные вещицы в доме хозяев Тригорского, семейства Осиповых-Вульф, нежных друзей, скрашивавших Александру Сергеевичу дни его михайловского заточения. А потом вы погрузитесь в суровую атмосферу имения Ганнибалов в Петровском, куда любил наезжать поэт и где ему являлась воочию славная история его рода, история Петра…

Всем своим строем, всей своей одухотворенной сутью музей-заповедник доказывает, что пришедший сюда по зову сердца может встретиться с Пушкиным.

Многое переменилось в здешних краях. Время унесло неповторимые крупицы пушкинского мира. Произошла и смена пород деревьев. Перерождаются и, к сожалению, высыхают чудесные воды Михайловского — озера Маленец, Кучане, темные парковые пруды. Процесс этот начался давно. Еще в 1834 году родители Пушкина, жившие тогда в Михайловском, сообщали дочери в Варшаву: «Озера наши и река скоро станут твердой землей». Иссякают питающие их родники, наносится ил, ползет ряска, распахиваются близлежащие пойменные луга. Сегодня с помощью псковских мелиораторов начинается реставрация мемориальные водоемов — сложная, кропотливая работа.

Хрупок заповедный уголок, занимающий 25 квадратных километров, нелегко уберечь его. И все же он вечен, ибо Михайловское для нас не только прошлое. И не только настоящее. Михайловское для нас — еще и будущее. Ап. Григорьев говорил, что Пушкин — это наше все. И впрямь — все!.. Вот почему места, причастные к судьбе его, для нас неисчерпаемы и бесконечны. Они многое готовы принять и вместить.

Немало претерпело на своем веку Михайловское. Вскоре после смерти Пушкина скромная обитель поэта дала временный приют его вдове и детям. Но дом был уже настолько ветхим, что жить в нем стало невозможно, и он окончательно опустел. Над камином в кабинете обосновалась сова. Она и сегодня прилетает каждую осень лунными ночами к дому, садится на конек кровли и громко плачет. Именно плачет, как писал еще Пушкин:

То был ли сон воображенья,
Иль плач совы…

Древние считали сову символом мудрости, вечности. Что ж,

вечность Михайловского восторжествовала, хоть и не сразу. В конце прошлого века здесь жил сын поэта, Григорий Александрович. Уезжая, он посадил в память отца вяз посередине Зеленого круга. Было это в 1899 году, в год 100-летия со дня рождения Пушкина. Кольцо молодых лип сомкнулось на кругу уже в 1937 году, к 100-летию со дня его смерти.

На рубеже XX века Михайловское было наконец приобретено в государственную собственность. Там обосновалась колония литераторов. Но лишь постановление Совнаркома от 17 марта 1922 года открыло путь к созданию уникального музейно-заповедного комплекса. В Михайловском очистили пруды, построили мостики занялись аллеями, цветниками, садами, лугами. В возведенный на старом фундаменте Дом-музей поэта начали стекаться первые экспонаты. Многие из них были переданы потомками владельцев бывшего имения Осиповых-Вульф, бережно хранившими пушкинские реликвии.

Война помешала восстановительным работам. Фашисты не пощадили нашей святыни. Они разобрали на дрова домик няни, сожгли Михайловский музей, вывезли в Германию обстановку, личные вещи поэта, его близких. Они вырубали заповедные рощи, вырыли блиндаж под «дубом уединенным» в Тригорском, а в раскидистых его ветвях устроили наблюдательный пункт, изуродовали траншеями парки. Отступая, они начинили пушкинскую землю тоннами смерти и заложили чудовищной силы заряд под могилу поэта…

Следом за крестьянами, потянувшимися на родные пепелища, вместе с саперами пришел сюда весной 45-го рядовой минометного расчета Семен Степанович Гейченко. Пришел, чтобы вернуть жизнь разоренной пушкинской земле. И остался тут навсегда. В первые послеоктябрьские годы он учился в Петроградском университете, работал главным хранителем Петергофских дворцов, затем в Пушкинском доме (Институт русской литературы АН СССР). На фронте он был тяжело ранен, лишился руки и неоднократно еще рисковал жизнью рядом с саперами в Пушкинских Горах.

На этой земле ему до всего есть дело, его здесь волнует все: древние валуны с таинственными знаками и письменами, археологические находки на бывшем городище Воронич, звери и птицы… Зимой в Михайловском попадаются теперь зайцы, лоси, косули. Не умолкает в аллеях разноголосый птичий гомон. Аисты вьют гнезда над крышей дома. «Заповедная, мемориальная природа должна полниться живой жизнью. Как во времена Пушкина», — говорит Семен Степанович. Он раскапывает у

букинистов редчайшие руководства XVIII века по парковому искусству, выводит сорта яблонь, что росли при Пушкине, сажает молодые деревья. лечит старые. Чтобы вновь одеть листвой умиравший от старости и ран знаменитый тригорский дуб, под него уложили в свое время с десяток машин удобрений и поили из пожарных шлангов водой несколько дней кряду. И так во всем: неприметная постороннему глазу, будничная работа.

Конечно, Гейченко возродил Михайловское не в одиночку. Едва разминировали первые дорожки, в усадьбу начали приходить жители окрестных деревень, сами зачастую оставшиеся без крова над головой, предлагая помощь. Поток солдат, катившийся на запад, задерживался у порога Михайловского. Усталые бойцы спешили сделать что-нибудь для заповедника и двигались дальше, унося с собой образ Пушкина — образ Родины. Были и постоянные помощники-энтузиасты. Не иссякала забота государства. Но Семен Степанович оставался душою всего. Сколько сделано им здесь за сорок лет, сколько он еще собирается сделать! Даже тот, кто никогда не бывал в Михайловском, прочитав увлекательные книги Гейченко, в особенности — великолепно изданное, красочное «Пушкиногорье», легко представит подвижнический труд этого беспокойного человека, необходимый нам, необходимый грядущим поколениям.

…Темнеет. В окнах Михайловского дома зажигаются огни. Покрытые инеем розвальни огибают ограду хозяйственного двора. Степенная смотрительница в валенках обмахивает на каминной доске кабинета чугунную статуэтку Наполеона «с руками, сжатыми крестом». И восстановленная нить прошлого, нить времени уводит нас к тому далекому дню 1817 года, когда лицейским выпускником вбежал Пушкин под сумрачную сень еловой аллеи Ганнибалов…

Где чувствовал он себя более одиноким — в великосветских салонах Петербурга, в гостеприимных московских гостиных, в тесной комнатушке убогого Кишинева, на бальном паркете одесского дворца наместника или же в занесенном пургой Михайловском при неверном свете свечи над столиком с рукописями? Если для биографов первая встреча поэта с его «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья» — эпизод, полный «белых пятен», то о втором их свидании мы знаем все или почти все. Но и первая встреча прочно отложилась в его и в нашей памяти.

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,

И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!

И уже в этих строках, написанных задолго до трагических событий 14 декабря, мы ощущаем ту легкую грусть, к которой позднее прибавятся горестная печаль и тяжкие разочарования.

Вторично мы видим Пушкина в Михайловском уже кумиром новой России, поэтом, чье имя было на устах не только столичной молодежи, но и всех, кто болел за судьбы отечественной культуры в самых отдаленных уголках огромной, готовящейся к социальным потрясениям страны.

Он прожил большую жизнь между первым и вторым приездом в Михайловское. Он стал знаменитым, он стал гонимым. И ко времени ссылки в Михайловское сравнялся уже с поэтами несравненными, всемирно известными, однако по значению для своей родины уступавшими ему.

Казалось, что мог бы он еще испытать, достигнув таких вершин, такого духовного напряжения? Он бросил вызов «милорду Уоронцову». Он пренебрег карьерой, гневом царя, в каждый день своего пребывания на юге оставаясь самим собой. Заставить его жить не так, как он хотел, было невозможно. Это бесило недругов, которые не могли вынести его свободной человеческой простоты, его острого языка, политических выпадов, его всеохватывающей и всепроникающей мысли. И отторгнутый ими изгнанник приезжает в Михайловское, не уступив своим врагам ни пяди завоеванного, в ореоле поэтической славы, скорее им осознаваемой внутренне, подспудно. Он приезжает уставшим от бедности и скитаний, но не утратившим мужества, приезжает зрелым, готовым к борьбе. Нет, он не ожесточился. Его душа не угасла, не потеряла способности верить, надеяться, любить.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
. . . . . .
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Михайловское окутало его тишиной, неоглядными далями, туманными влажными рассветами, непроницаемыми ночами и

дрожащим сиянием луны, что висит тут прямо над подоконником. Он пишет с неистовой страстью, пишет много и разное, пишет вещи бесценные. Он продолжает начатое в Кишеневе, Одессе; и одиночество, непереносимое для других, отступает перед ним и даже делается порой источником веселья, неотделимого, правда, от грусти и тоски.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я
разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца
руку
И пожелать веселых много лет.

И вместе с тем:

И первую полней, друзья,
полней!
И всю до дна в честь нашего
союза!..

Вот пример, когда противоречивые чувства сливаются в драгоценный поэтический сплав, который поистине можно назвать «михайловским».

Да и разве один был он здесь? Нет. Он наслаждался природой, изучал нравы онегинских соседей, засиживался в тригорской библиотеке, наблюдал быт крестьян и монахов, ходил по святогорским ярмаркам, прислушивался к милому его сердцу говорку Арины Родионовны… Нет, он был здесь не один, а просто наедине с собой. И этот поразительный взлет — ведь здесь он создал своего Бориса, Бориса, который вывел его на простор общественного служения и высокого историзма, — этот торжествующий пушкинский взлет позволил ему совладать с тем состоянием, которое могло бы надломить другой, менее мощный дух. Бесконечными зимними вечерами одиночество бежало от него еще и потому, что он знал: о нем думают, его помнят. «Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты», — пишет «великому Пушкину» в михайловскую глушь его «Дельвиг милый». «…По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе», — летят к нему в ноябре того ясе 1824 года горделивые слова Жуковского. «Ты около Пскова: там задушены последние

вспышки русской свободы… — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» — требовательно вопрошал Рылеев.

Их было всего двое, навестивших его здесь. Иван Иванович Пущин, совесть русской интеллигенции, совесть декабризма, провел в Михайловском счастливые часы, внимая голосу друга, читавшего отрывки новых пьес, диктовавшего начало «Цыган» для «Полярной звезды». И беспредельная доброта, душевное благородство и ум Антона Антоновича Дельвига озарили на миг деревенскую келью поэта. Их было всего двое. Но каждое из этих посещений — эпоха!

Да, ему не удалось явиться на Сенатскую. Но стихи Пушкина, его тень незримо присутствовали там, заставляя следствие раз за разом допытываться у арестованных о ссыльном поэте. И когда мы думаем о декабристах, мы вспоминаем не только чеканный слог послания в Сибирь, написанного позднее, уже в Москве, но и михайловский на полях рукописи рисунок виселицы с контурами пяти повешенных и оборванной строкой: «И я бы мог…»

Есть некий особый смысл в том, что Пушкин окончил «Бориса Годунова» осенью 1825-го, предшествовавшей восстанию декабристов. Есть некий особый смысл в этих грозных призывах: «Народ! народ! в Кремль! в царские палаты!» И есть некий особый смысл в том, что михайловские мужики, навеявшие Пушкину многие образы бессмертной драмы, спустя двенадцать лет бережно опустят его гроб в могилу.

Да, душою он был с восставшими и сказал о праве народа жить достойнее, чище за несколько месяцев до того, как российский трон закачался не под ночными ударами мятежных гвардейцев, а перед открытым выступлением общественной оппозиции.

Через восемь месяцев он покинет свой дом. Не вдохнет больше запах увядшей листвы на ступеньках веранды, не увидит петляющие в сугробах беличьи следы, не пойдет привычной дорогой к соседям в Тригорское и не услышит звенящий в саду девичий смех… Липовая аллея Керн, тенистая прохлада «дуба уединенного», волнистые пажити у Савкиной горки останутся без него. И долго еще будет светить ему в пути теплый огонек родного Михайловского, согревая в горестях и невзгодах последнего десятилетия.

Он вернется сюда скорбным для себя днем ранней весны 1836 года, когда привезет в Святые Горы гроб с телом матери. Минуя пустынные монастырские дворы, подымется по стертой каменной лестнице на вершину холма к стенам старинного собора. И закрепит за собой в тот день место на родовом кладбище. Предчувствие его, к несчастью, скоро сбудется. И здесь, «в глухой

народной стороне», в скудной песчаной почве навечно упокоится его прах.

Вот почему — вечность Михайловского! И вот почему Михайловское неизменно притягивает нас мыслью и памятью.

…За Псковом пала одна из лошадей. Пришлось останавливаться в Острове. От мороза трещали стволы деревьев. Никита же, как встал на задок возка, припав головой к гробу, так и застыл. «Шкуру сдеру, ежели что», — напутствовал жандарм ямщиков. Земля была как камень. Жгли костры, чтобы хоть немного отогреть. Перед тем как опускать гроб в могилу, трижды качнули его по старинному псковскому обычаю в сторону отчего дома в Михайловском. Насыпали холмик. Поставили сосновый крест. Кто-то из дворовых сказал Александру Ивановичу Тургеневу: «Надпись бы сделать…» Тот ответил: «Пусть черной краской выведут одно слово «Пушкин», больше ничего не надобно…» Михайловская крестьянка принесла чашку с кутьей и поставила ее на край могилы. После панихиды Тургенев попросил Никиту Козлова набрать ему с могилы пригоршню земли. Плакали мужики, плакал Никита, плакал соборный колокол. Пушкин любил слушать его голос- и, бывало, сам, взобравшись на колокольню, устраивал такой трезвон, что настоятель в отчаянии затыкал уши. Теперь колокол печально ударил к ранней обедне. Монастырь зажил своей обычной жизнью…

Колокола эти висели тут вплоть до Великой Отечественной войны. Они значились в особом государственном списке реликвий страны, подлежащих вечному хранению.

Более тридцати лет собирал С. С. Гейченко по всей округе колокола, звоны которых наверняка бы мог слышать Пушкин. Их надо было подбирать не только по внешнему виду, но и по звучанию, комплектовать как музыкальный ансамбль. Удалось многое. Разыскали даже два подлинных святогорских «дисканта». Некоторые из найденных колоколов оказались глухие, с глубокими сквозными трещинами. Ученый-металлург профессор А. Ю. Поляков увез их к себе в Москву, сделал лабораторный анализ сплава, изготовил нужную присадку. Литейщики проделали тончайшую реставрационную работу. И вот утром 2 мая 1978 года колокола подняли на звонницу, надели на них хомуты, подвесили языки. Раздалась команда: «Дать большой голос!» — и ребята из студенческого отряда осторожно принялись раскачивать веревку двухтонного колокола-баса. Густой певучий звук поплыл в небе…

* * *

За год Пушкинские Горы посещает свыше миллиона человек. Хотя железная дорога в этих местах не проходит и ради упрочения заповедника, его охранной зоны никогда уже проходить не будет, люди сюда едут и едут. Да и как может быть иначе!

Мы приходим к Пушкину по зову сердца, приходим к другу и современнику, подтверждая тем самым вывод Белинского: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества…»

И вот еще почему — вечность Михайловского!

МЕЗОНИН ПОЭТА

Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын.
Как русский, сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный…

М. Ю. Лермонтов

Осенью 1827 года в Москву через Покровскую заставу (ныне Абельмановскую) медленно втягивался пропыленный обоз: впереди — большая старомодная карета, тяжело поскрипывавшая рассохшимися осями по горбатому булыжнику мостовой, следом — несколько телег с дворней и домашним скарбом.

За зашторенным стеклом высокой лаковой створки кареты покачивалась морщинистая щека, перехваченная атласной лентой чепца, да шарил по сторонам мальчишеский глаз, в бархатной глубине которого тонуло неяркое осеннее солнце.

…Обоз долго тащился окраинными улицами, сродни пензенским или чембарским, и только уже на набережной Москвы-реки путешественники попали в водоворот городской толпы и нарядных экипажей. Порывистый ветер хлопал разноцветными флажками крутобоких барж и баркасов, и на косо забиравшем вверх другом берегу реки величаво плыли в небесной лазури золотые купола кремлевских церквей.

…Миновали Кузнецкий мост, ошеломлявший приезжего роскошеством своих лавок. На Сретенке движение сделалось менее оживленным. Поток рюшей и цилиндров поредел, изящные коляски и фаэтоны уступили место непритязательным извозчичьим дрожкам.

…Обоз завернул в Сергиевский переулок и остановился у дома титулярного советника Тоона, где жило семейство дяди Арсеньевой Петра Афанасьевича Мещеринова. Здесь юному Лермонтову предстояло провести первую свою московскую зиму.

Кончалась короткая пора детства в Тарханах. Начиналось отрочество, начинался поэт.

Пять ранних лет жизни Лермонтова прошли в Москве. Пять — из двадцати семи, отпущенных ему судьбой. То были годы

познания, поисков, свершений, сердечных мук и восторгов любви, чистых, верных дружб. «Москва моя родина и всегда ею останется, — пишет он уже из Петербурга Марии Александровне Лопухиной. — Там *я родился,* там много *страдал* и там же был *слишком счастлив!»* — Слова «родился», «страдал» и «слишком счастлив» подчеркнуты самим Лермонтовым.

Через Москву пролег путь поэта в первую ссылку на Кавказ за стихотворение на смерть Пушкина, в марте — апреле 1837 года. Мартынов, будущий убийца Лермонтова, писал впоследствии в своих мемуарах: «Мы встречались с ним почти каждый день, часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался». В январе 38-го года, возвращаясь из Тифлиса в Петербург, Лермонтов вновь ненадолго задержался погостить в Москве. В родной первопрестольной одинокий изгнанник отогревался душой и по дороге во вторую свою ссылку на Кавказ, в мае 1840 года. («Быть может, за хребтом Кавказа сокроюсь от твоих пашей…») Виделся с немногими друзьями, читал наизусть на именинном обеде Гоголя в саду Погодина на Девичьем поле отрывок из поэмы «Мцыри» в присутствии С. Т. Аксакова, А. И. Тургенева, П. А. Вяземского, М. Н. Загоскина… Бывал в кружке московских славянофилов, где, по словам Ю. Ф. Самарина, ему особенно понравился философ А. С. Хомяков. Последний вечер Лермонтов провел у Н. Ф. и К. К. Павловых. Самарин вспоминает, что он «уехал грустный». «Ночь была сырая. Мы простились на крыльце».

И еще пять светлых дней отсрочки перед роковым концом выпало на долю поэта в Москве, когда в апреле 1841 года унылые перекладные влекли его из выхлопотанного ему бабушкой отпуска в Петербурге обратно в действующую армию.

«…я в Москве пробуду несколько дней, остановился у Дмитрия Григорьевича Розена… — сообщает он в письме к Е. А. Арсеньевой. — Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо — и мне довольно весело; был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю; он был со мною очень любезен».

За полчаса до отъезда Лермонтов пришел проститься к Самарину и принес ему для «Москвитянина» стихотворение «Спор». «Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах», — писал позднее об этой встрече Самарин в письме к Гагарину.

…Пока сонный инвалид-караульщик близоруко обнюхивал подорожную и отпускал веревку шлагбаума, молодой поручик Тенгинского пехотного полка успел еще раз окинуть взглядом остающиеся позади холмы Белокаменной, а затем ямщицкий

возок, переваливаясь на ухабах, унес его навстречу смерти.

Пять лет и эти последние пять дней…

Московскому периоду жизни Лермонтова посвящены книги и исследования. Вдоль и поперек изучены лермонтовская Москва и тогдашнее окружение юного поэта, все новыми материалами дополняется наше представление о них.

Одни только гениально провидческие строки «Бородина», первый вариант которого тоже, кстати, создавался здесь: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши деды умирали!» — одни только эти слова, ставшие общенациональным кличем, звучавшие в сердцах защитников столицы в ноябре сорок первого и отозвавшиеся суровым призывом панфиловского комиссара Клочкова у разъезда Дубосеково: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» — навечно соединили два понятия: «Лермонтов» и «Москва».

И возможно, потому столь трудно поверить (а многие, вероятно, даже не догадывались), что в Москве, городе одиннадцати мемориальных музеев-квартир великих наших художников слова, не было музея Лермонтова.

Теперь он наконец есть. Причем именно там, где ему и положено быть — в доме № 2 по Малой Молчановке. Здесь юный поэт готовился к экзаменам в Благородном пансионе и потом в университете, написал более ста лирических стихотворений, романтические поэмы «Измаил-бей» и «Аул Бастунджи», философскую драму «Странный человек», первый вариант «Демона»… Завершились многолетние межведомственные тяжбы по передаче дома Государственному литературному музею, и одноэтажный деревянный особнячок с мезонином в три оконца, уникальный памятник архитектурной застройки послепожарной Москвы (образец так называемого московского деревянного ампира), чудом сохранившийся до наших дней, едва избежав сноса при сооружении Калининского проспекта и печальной участи быть превращенным в склад или ремонтную мастерскую, наглухо заколоченным и обветшавшим поступил в руки архитекторов и художников-реставраторов, чтобы стать Домом Лермонтова.

Сорок два года ждал этого часа Ираклий Луарсабович Андроников. Ведь незадолго до войны автор известной книги «Из истории московских улиц» И. Д. Сытин обнаружил в областном архиве документы, неопровержимо свидетельствующие, что Арсеньева с внуком жили именно в этом доме. Только усадьба объединяла тогда два строения: одно — фасадом на Поварскую, другое — на Малую Молчановку. В последнем и обосновалась

бабушка Лермонтова.

С присущим ему энтузиазмом Андроников первым проложил охранительную тропку к застроенному, перестроенному, полузабытому особнячку и добился того, чтобы нависшую было над ним красную линию Генерального плана реконструкции столицы чуть-чуть отодвинули… Об экспозиции же будущего мемориала он начал помышлять еще в 1941 году, когда готовил первую лермонтовскую выставку (открытию ее помешала война), и все последующие десятилетия возвращался к своей сокровенной мечте с каждой новой находкой — в Москве, в Ленинграде, на Кавказе, в западногерманском замке Хохберг, откуда вывез знаменитый лермонтовский автопортрет с буркой, встречающий теперь посетителей нового музея.

Запись в метрической книге церкви Трех святителей у Красных ворот за 1814 год хранит свидетельство, выданное Арсеньевой из Московской духовной консистории о том, что в ночь со 2 на 3 октября в Москве, в доме генерал-майора Ф. Н. Толя напротив Красных ворот в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой, появился на свет сын Михаил, крещенный «того же октября 11 дня».

Не уцелел дом генерал-майора Толя у Красных ворот, и лишь название шумной площади на Садовом кольце и станции метро да гранитная фигура в разлетающемся армейском сюртуке при входе в скверик напоминают: здесь родился Лермонтов.

Время давно смело и маленький домик капитанской дочери Лаухиной, который Арсеньева сняла следующей весной на Поварской рядом со Столыпиными по приезде с тринадцатилетним внуком в Москву (на месте его сейчас находится дом № 24 по улице Воровского). Не сохранился и соседний, более просторный дом майорской жены Костомаровой, куда Елизавета Алексеевна перебралась вскоре после того, как к ней из деревни приехали муж и сын ее любимой племянницы М. А. Шан-Гирей.

И остался драгоценный особнячок на Малой Молчановке единственным из московских домов, где жил Лермонтов.

В ту пору дом этот принадлежал купцу Чернову и за полтора века сменил немало владельцев (известно, что построен он был в 1816 или 1817 году). В последующие десятилетия неоднократно перестраивался (сохранились даже документы этих перестроек), претерпел существенные изменения. Так что вернуть ему первоначальный облик оказалось очень непросто.

И еще. Особняк с мезонином на Малой Молчановке один только и остался от тихой московской улицы первой трети XIX

века, по которой звучали быстрые шаги юного Лермонтова.

Центр дворянской, фамусовской Москвы — Остоженка, Пречистенка, Арбат, Молчановка, Поварская, Никитская, — укрывшийся в стороне от кипучей торговой части города, отличался удивительным своеобразием. Днем поросшие травой улицы дремали в тени густых садов, куда выходили фасадами городские усадьбы несметной родни и близких знакомых Арсеньевой, в которых постоянно бывал ее ненаглядный Мишель.

…Чинно прошествуют в сопровождении гувернера дети в черных курточках с отложными воротничками, торопливо просеменит вдоль забора молоденькая служанка, держа на весу огромную шляпную картонку из модного магазина на Кузнецком или в Столешниковом, прогромыхает по колдобинам тяжелая парадная карета, запряженная четвериком, с форейтором впереди и двумя ливрейными лакеями на запятках; и вновь все стихнет. Лишь по первым числам доносился сюда от Арбатских ворот гомон нищей толпы, стекавшейся за подаянием к дверям «Императорского человеколюбивого общества».

Вечерами улицы преображались. В паркетных залах за большими окнами вспыхивали люстры, и в колеблющемся пламени сотен свечей скользили, подчиняясь прихотливым фигурам котильона, бальные пары. Густыми волнами наплывали с балкона медные голоса оркестра, пышные туалеты дам сливались с блестящими мундирами и фраками, вилась вокруг колонн прихотливая лента кадрили… Под утро смолкала музыка, гасли огни, и усталый покой нарушали только отрывистый лай собак да стук в доску ночных сторожей.

В этих исчезнувших уже теперь особняках ходили по рукам мадригалы и эпиграммы юного Лермонтова, адресованные всем его знакомым. Тут он впервые увидел Вареньку Лопухину и обрел веселый кружок сверстников, неразлучную пятерку друзей — Н. Поливанова, А. Лопухина, А. Закревского, Н. и В. Шеншиных. Вместе с ними он самозабвенно придумывал маскарадные костюмы и на святки и масленицу выбегал в сени встречать ряженых. А Мария Лопухина, старшая сестра Вареньки, с кем долго потом переписывался поэт, А. Верещагина, не раз помогавшая ему добрым советом и сумевшая сберечь на чужбине его рукописи и рисунки, Е. Сушкова… Они тоже жили здесь!

Вот почему создание Дома-музея Лермонтова на Малой Молчановке есть одновременно попытка воссоздать один из интереснейших уголков старой Москвы, прочно вошедший в историю отечественной культуры.

Легко сказать: восстановить особняк в первоначальном виде. А каким он был тогда? Полностью ли обшит доской? Выступали

на торцах бревна? Как выглядели крыльцо и дворик?.. И бились над деталировкой проекта реставрации специалисты, зондировали фундамент и перекрытия, закладывали в стены шурфы на исследование древесины… Месяцы, годы кропотливого подготовительного труда, о котором знают только они — директор Государственного литературного музея Н. Шахалова со своими коллегами, архитекторы В. Егоров и А. Михайловский, мастера-реставраторы В. Весельков, А. Казаков, Н. Ан. Шаг за шагом возрождался первозданный облик особняка. Высокой, как встарь, стала крыша мезонина, упростился рисунок наличников. Правую, позднюю пристройку с подъездом разобрали, а левую «утопили» от плоскости фасада вглубь, и теперь она не нарушает общего контура здания. Красивая ажурная ограда опоясала двор, в котором весной зацвела зелень, распустились цветочные клумбы.

Не меньшие сложности были связаны с восстановлением интерьера и убранства комнат. О них, увы, дошли весьма скудные, отрывочные сведения. А уж личных вещей, как известно, почти совсем не осталось. И все же тщательная научная разработка типологии обстановки и сбор буквально по крупицам подлинных предметов эпохи принесли свои плоды. Свершилось обычное музейное чудо: дом ожил, наполнился отзвуками и тенями минувшего.

Атмосфера дома, атмосфера жизни. Ее в первую очередь определяли книги. Книги и распахнувшийся в Москве не по годам развитому подростку волшебный мир театра, живописи, музыки. Семья Мещериновых, у которых они с бабушкой прозимовали, была одной из наиболее культурных и относительно передовых дворянских семей того времени. В доме имелась прекрасная библиотека, висели картины первоклассных художников, исполнялись на фортепиано произведения крупнейших композиторов. За обеденным столом и в гостиной мальчик слышал жаркие споры о политике, искусстве, литературе. Одну за другой снимал он с полки трепетными руками поэмы Пушкина.

Пушкин уехал только в мае, прожив в Москве около года, и столица была еще полна воспоминаний о нем. Истекала вторая зима после кровавых событий на Сенатской площади. Набирала силу реакция. Однако в Москве все же дышалось легче, чем в других городах николаевской империи. Недаром шеф жандармов Бенкендорф называл Москву «центром якобинства». Не утратила она тогда и значения национального культурного центра, которое приобрела в двенадцатом году.

Народной столицей, средоточием просвещения, с ее

прославленным университетом, где некогда учились многие декабристы, театром, со сцены которого раздавались пылкие призывы к гуманности, и журналами, знакомившими читателей, несмотря на препоны цензуры, с прогрессивными течениями научной и философской мысли Запада — такою предстала Москва юному Лермонтову.

Из деревни он привез свою детскую тетрадь со стихами: «Разные сочинения принадлежат М. Л. 1827 года, 6-го ноября». Дата эта — рубеж, знаменующий начало новой, московской жизни. Далее содержание тетради резко меняется. Если на первых страницах ее переписаны стихотворения о греческих богах и героях, которые давал читать мальчику в Тарханах гувернер-француз, то после «6-го ноября» следуют «Бахчисарайский фонтан» Пушкина и «Шильонский узник» Байрона в переводе Жуковского.

С переездом на Поварскую, а затем на Молчановку круг юношеских знакомств и интересов Лермонтова расширился. Дом отца Арсеньевой Алексея Емельяновича Столыпина в Знаменском переулке близ Арбатских ворот считался одним из самых примечательных в тогдашней Москве: балы, маскарады, театральные представления сменяли там друг друга. Крепостной театр Столыпина пользовался заслуженной известностью; его актеры, приобретенные Александром I в казну и получившие свободу, положили впоследствии основание труппе Малого театра.

Художник М. Е. Меликов, который знавал юного поэта по Москве, пишет в своих воспоминаниях: «Помню, что когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска: он вылепил, например, охотника с собакой и сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновым; пьесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов».

В квартире Столыпиных на Поварской всегда толпилась молодежь, привлеченная уроками танцев знаменитого тогда в Москве Иогеля. На детских балах у Столыпиных появлялся и застенчивый, несколько экзальтированный подросток со смуглым, тонким лицом и жгучими глазами, который сыпал колкими остротами, великолепно танцевал и стремительным мелким почерком исписывал стихами первый подвернувшийся клочок бумаги…

По приезде в Москву Лермонтов продолжал подготовку в Благородный пансион при Московском университете, о чем с ребяческой гордостью сообщал в письме к тетке, руководившей

его занятиями в Тарханах, и проявлял при этом трогательную заботу об оставшихся в деревне товарищах. Готовил мальчика в пансион преподаватель этого привилегированного учебного заведения для дворянских детей А. Зиновьев, историк по специальности, разносторонне образованный публицист, выступавший в журналах со статьями по вопросам литературы и педагогики. Основную задачу воспитания он видел в том, чтобы пробудить в подростке нравственное чувство, научить его быть человеком и гражданином.

Зиновьев интересовался поэзией, русской стариной. Лучшего наставника юноше трудно было пожелать. Совершая со своим воспитанником длительные прогулки по Москве, он знакомил его с произведениями искусства, историческими памятниками, а потом заставлял писать «Очерки о полученных впечатлениях».

Мальчиком Лермонтов не раз взбирался на верхний ярус колокольни Ивана Великого и любовался оттуда необозримой панорамой древней столицы. Она не была для него громадой холодных, безмолвных камней. «Здесь каждый камень хранит память, начертанную временем и роком», — запишет он в своей тетради.

Осенью 1828 года Лермонтов поступает в четвертый класс Московского университетского Благородного пансиона, внушительный корпус которого занимал угол Тверской и Газетного переулка (дом не сохранился, на том месте теперь расположено здание Центрального телеграфа на улице Горького). Арсеньева не пожелала расстаться с внуком, и мальчика зачислили полупансионером. Каждое утро гувернер отводил его на занятия, а вечером забирал домой, на Поварскую.

Науки, искусства, физические и военные упражнения — все это входило в обширную программу обучения. Особое внимание обращалось на преподавание русского языка и литературы. Поощрялись и литературные опыты воспитанников. Таким образом, обстановка в пансионе способствовала развитию духовных способностей и таланта будущего поэта.

Лермонтов учился охотно, хорошо, проявив немалые успехи в математике; был награжден при переходе из четвертого класса в пятый двумя призами: книгой и картиной, а на торжественном собрании по случаю девятого выпуска в апреле 1829 года назван среди наиболее отличившихся воспитанников.

«Вакации приближаются и… прости! достопочтенный пансион, — летит от него весточка в деревню М. А. Шан-Гирей. — Но не думайте, — прибавляет он, — чтобы я был рад оставить его, потому, что учение прекратится; нет! дома я заниматься буду еще

более, нежели там».

Появляются новые друзья, новые увлечения. Ко времени поступления в пансион Лермонтов относит начало своего поэтического творчества. «Когда я начал марать стихи в 1828 году (зачеркнуто: в пансионе), я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их…» — читаем мы в его тетради 1830 года.

О Лермонтове тех лет можно составить представление по двум его тетрадям (тетради 2-я и 3-я Пушкинского дома). Они отражают становление личности поэта, процесс поиска им своего видения мира. В них мы уже находим острую критику окружающей действительности, смелые богоборческие мотивы, продолжающие бунтарские традиции революционных романтиков Запада (в особенности Байрона) и поэтов-декабристов. Уже тогда юноша всерьез задумывается над тем, что такое поэт. В беловой ученической тетради Лермонтова незримо витает дух Пушкина…

Он читает много, запоем, вдохновляется книгами, как жизнью, и следы прочитанного остаются на страницах его первых московских произведений. Ему прочно врезается в сердце строка «Белеет парус одинокий…» из поэмы Бестужева-Марлинского «Андрей Переяславский», которую он прочитал через год после приезда в Москву. Спустя несколько лет в Петербурге он начнет этой строкой лирический шедевр, проникнутый оригинальной художественной мыслью.

Его восхищают небесно-земные мадонны Рафаэля, с которыми он сравнивает героинь своей юношеской лирики, и волнует судьба народного французского поэта Беранже (стихотворение «Веселый час»). Ему все труднее совмещать переполняющий душу «поэтический гул» с размеренными занятиями в пансионе. Сверху одной из страниц ученической тетради Лермонтова в толстом коричневом переплете вслед за длинными столбцами латинских, французских и немецких слов размашисто выведено название задуманного литературного произведения: «Лирическая поездка». Название зачеркнуто и под ним аккуратно написано: «Всеобщая история. Лекция II».

Пансионскому воспитателю Лермонтова кажется, что подросток перестал быть благонравным. На полях его тетради против перебеленной поэмы «Два брата», рисующей кипение людских Страстей, земные радости и страдания, взрослым почерком сделана пометка: «Contre la morale» — «Против веры». Мальчик-поэт все решительнее вырывается из узкого круга предначертанных догм и пускается в самостоятельные поиски истины.

Неожиданное появление в большом актовом зале училища неузнанного сперва царя, его холодная ярость при виде на

мраморной доске в числе имен лучших выпускников фамилии декабриста Николая Тургенева и последовавший за этим высочайший указ от 29 марта 1830 года о реорганизации Университетского пансиона в обычную гимназию с введением розог для наказания воспитанников потрясли впечатлительную натуру Лермонтова. Впервые столкнувшись с Николаем, он, возможно, прочитал в его «зимних» (по выражению Герцена) глазах собственную судьбу.

«Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче, ни одного звука не мог я извлечь из скрипки, из фортепиано, чтоб они не возмутили моего слуха», — пишет Лермонтов весной 1830 года в мезонине на Малой Молчановке, у открытого окна которого он часто играл на скрипке увертюру и распевал любимые арии из революционной оперы «Немая из Портичи» (ее постановка в Брюсселе в 1830 году послужила своего рода сигналом к восстанию).

Буря негодования, вызванная в его душе разгромом пансиона, побудила юношу бросить в те дни горький упрек Пушкину за стихотворение «Стансы», в котором великий поэт, стремясь указать императору на необходимость реформ и возвращения сосланных в Сибирь декабристов, проводил параллель между Николаем I и Петром. Пятнадцатилетний Лермонтов писал:

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира,
Но ты остановись, певец.
Златой венец не твой венец.

Памятуя, что участь поэта — изгнание и что оно не раз грозило Пушкину, юноша добавляет:

Изгнаньем из страны родной
Хвались повсюду как свободой.

И все же, начав с гневного пассажа, он уже во второй строфе преклоняется перед Пушкиным и заканчивает стихотворение словами:

Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

После указа о реорганизации Благородного пансиона в гимназию многие родители забрали оттуда своих детей. Покинул его и Лермонтов, прямо накануне выпуска, решив держать экзамены в Московский университет.

Год этот отмечен многими важными событиями. Русские газеты были полны сообщений о борьбе за независимость в колониальных странах Востока и на юге Европы. В конце июля произошла революция во Франции. Вслед за тем революционная волна прокатилась по всей Европе. Зашатались престолы, вооруженный народ вышел на улицы.

Летом и осенью стихийные крестьянские бунты охватили Россию. Неспокойно было и в родном Лермонтову Чембарском уезде. Крестьянская война казалась неизбежной.

Поднявшаяся на вековых угнетателей, мужицкая Русь, которую поэт хорошо знал с детства, не пугала его, и, подобно Радищеву, он с восторгом приветствовал восставший народ.

По примеру Радищева Лермонтов пишет свое «Предсказание»:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет.

Зрелой гражданственностью, мужественным духом дышат и другие его стихотворения того периода. В отличие от Пушкина он признает за народом право судить тирана.

Есть суд земной и для царей, —

утверждает юный поэт вслед за автором «Путешествия из Петербурга в Москву».

Покинув в апреле пансионскую скамью, Лермонтов в августе успешно выдержал экзамены в университет и на два года окунулся в вольную студенческую среду.

К «студентам-братьям» обращены строки его позднего стихотворения:

Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками…

Несмотря на жесточайшие репрессии властей, в этой среде процветали вольнолюбивые, демократические настроения. При Лермонтове, летом 1831 года, были арестованы, а затем приговорены к четвертованию, повешению и расстрелу студенты, принадлежавшие к «тайному обществу» Сунгурова. Вся их вина заключалась в мечтах о конституции. Более полугода осужденные жили в ожидании смертной казни, пока приговор не был отменен. Один из приговоренных к повешению обычно сидел на лекциях рядом с Лермонтовым. Легко вообразить, какое впечатление должна была произвести на поэта эта чудовищная обдуманная жестокость!

Известно, что царь, зная об оппозиционных настроениях студентов, втайне ненавидел Московский университет и даже старался никогда не проезжать мимо него, бывая в Москве.

В те годы в Московском университете учились Белинский, Герцен, Огарев. У его питомцев существовал культ дружбы, имевший глубокие общественные корни и находивший выражение в студенческих кружках. Это было желание теснее сплотиться в удушливой атмосфере николаевской России.

Понятно, что столь даровитые юноши, как Герцен, Огарев, Белинский, Лермонтов, притягивали к себе сверстников.

Лермонтовский кружок собирался в мезонине на Малой Молчановке. Членами его были упоминавшиеся уже Николай Поливанов и Алексей Лопухин, жившие по соседству, а также Андрей Закревский, который дружил с Белинским, Герценом и Огаревым, находился в близких отношениях с сунгуровцем Костенецким и распространял среди своих многочисленных знакомых лермонтовские стихи. Бывал на Малой Молчановке и старший приятель поэта Святослав Раевский.

Немало случалось между друзьями различных забавных проделок и шутливых выходок, вроде той, когда в подмосковном Середникове они «ходили ночью попа пугать». Лермонтов описал это происшествие в одной из своих стихотворных пародий на романтические, «таинственные» баллады Жуковского («Сижу я в комнате старинной…»). Из позднейшей приписки ясно, что дело происходило «в мыльне». Старая баня, куда забрались ночью молодые проказники, служила согласно народным преданиям прибежищем нечистой силы. Вспомним, как, собираясь после полуночи ворожить, отправляется в баню пушкинская Татьяна.

Бывало, друзья засиживались в мезонине до рассвета, яростно споря о Шиллере и Шекспире, мечтали о подвигах. Это было типично не только для дома на Малой Молчановке. В то время как в гостиных дворянских особняков текла неторопливая, рутинная беседа, в мезонинах и антресолях над ними шла совсем

иная жизнь…

В сентябре, не успел Лермонтов еще приступить к занятиям в университете, в Москве началась эпидемия холеры.

«Зараза приняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеплена строгим военным кордоном и учрежден карантин. Кто мог и успел, бежал из города», — пишет в своих воспоминаниях П. Ф. Вистенгоф.

Арсеньева с внуком остаются в опустевшей столице. Днем юноша отправлялся бродить один по безлюдному городу. Горели костры. Зловещими призраками скользили черные холерные фуры. Ставни домов были плотно закрыты. За заставой вдоль снежного вала маячили пикеты.

Ночью в мезонине юному поэту рисовались жуткие картины смерти и запустения:

Толпами гиб отчаянный народ,
Вкруг них валялись трупы — и страна
Веселья — стала гроб…

Оптимизм и надежды молодости, однако, брали верх. Во время холеры Лермонтов пишет философскую трагедию «Люди и страсти», в которой сквозь мрачную интонацию тоски и безысходности властно пробивается жизнеутверждающая тема:

…жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых…

Юношеская мечтательность и отрешенность, постоянная склонность к углубленному самоанализу удивительным образом сочетаются у раннего Лермонтова с трезвой рассудочностью и жаждой деятельности.

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Он вечно куда-то торопится, спешит, точно предчувствуя скорый конец.

…Мне жизнь все как-то коротка
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! —

восклицает он год спустя в своей лирической исповеди. И прибавляет:

Так жизнь скучна, когда боренья нет.

* * *

Комната Лермонтова встретила нас гулкой пустотой. На голой поверхности пола и стен выделялась лишь резная чугунная заслонка узкой кафельной печи в углу. При всем желании трудно было представить себе эти лермонтовские пенаты «в готовом виде», и тонкая паутина линий на кальке мало чем могла мне помочь. Люди же, водившие меня по дому, не только отчетливо воображали будущую картину, но неизменно держали в уме сотни деталей воссоздающихся спален, столовой, гостиных в их естественном соотношении друг с другом…

Придите сюда сегодня, и вам не избавиться от ощущения, что все здесь так и было изначально: фамильные портреты работы крепостных художников, которые Арсеньева возила с собой, павловская мебель красного дерева с голубой обивкой, старинное фортепиано, а на нем — потертый футляр скрипки, расписной фарфор, бронзовые чернильные приборы, литые подсвечники… Они переехали в дом Лермонтова из старых московских квартир, из коллекций, собиравшихся десятилетиями, передававшихся по наследству.

А вот этот ломберный стол — из Середникова, подмосковного имения родственников поэта, очевидно, помнит прикосновение его рук, — юный Мишель как-то летом гостил там.

Вся квартира состояла из семи комнат: пять внизу и две в мезонине (антресоли пристроили позднее). Из окон, выходивших во двор, были видны низенький, кривой заборчик, а в глубине двора — флигель и конюшни, тогда еще деревянные.

По крутой узенькой лесенке с тонкими перильцами проворный юноша одним махом взлетал к себе в мезонин. Тут был его «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», куда посторонние не допускались.

Первое, что бросалось в глаза с порога лермонтовской кельи, — книги. Юноша гордился своей библиотекой и собирал

ее со дня приезда в Москву. На полках большого книжного шкафа выстроились тисненные золотом корешки полных собраний сочинений Ломоносова и Державина, Фонвизина и Крылова, а на самом видном месте — любовно расставленные томики Пушкина. Словом, тут была вся русская литература от Кантемира до Жуковского. Рядом синели обложки сатирических журналов Новикова, номера «Московского вестника» соседствовали с мятежными «Думами» Рылеева и альманахом «Полярная звезда»; теснилась зарубежная классика — сочинения Шеллинга, Сен-Симона, Фурье, все новое, выходящее на русском и иностранном языках.

Крупномасштабная географическая карта за книжным шкафом, портрет Байрона над диваном («У нас одна душа, одни и те же муки»). На диван небрежно брошен еще не разрезанный номер «Галатеи» с «Вопросами» (из Гейне) в переводе молодого Тютчева. Шахматный столик в углу — дань любимому увлечению. И — наброски, рисунки, акварели, как будто только что законченный портрет отца, чье имя в доме бабушки находилось под запретом.

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть.

И портрет, и эти печальные строки написаны здесь.

Сюда, в мезонин, Лермонтов с волнением принес журнал «Атеней», напечатавший в сентябре 1830 года его стихотворение «Весна» — первое из опубликованных, под которым вместо подписи еще стояла латинская буква L. В этой же комнате в июле 32-го поэт укладывал в дорожный саквояж дорогие сердцу вещи и тетрадь с рукописью «Вадима», готовясь к отъезду в Петербург, где ему было «все так холодно, так мертво»…

ПОРТФЕЛЬ ГОГОЛЯ

…Всю дорогу от Петербурга сеялся мелкий, наводящий тоску дождь. Не по-июльски холодный ветер гнал впереди возка низкие хвостатые тучи. Гоголь кутался в шинель, укрывал ноги полстью, однако ничто не помогало.

Проклиная погоду, грязь и плутовство станционных смотрителей, добрался он наконец до Тверской заставы. Свежий номер «Московских ведомостей» сообщал, что дворцовая контора продает на Пресненских прудах «карасей отборных», а попечительский комитет императорского человеколюбивого общества вызывает желающих принять на себя «починку колодезя… в доме, пожертвованном комитету, на Моросейской улице». Рядом шли объявления о продаже «душ», турецких шалей, карет, караковых жеребцов, «годных для господ офицеров». И какая-то безутешная коллежская асессорша истошно взывала: «Умершего мужа моего дворовый человек Алексей Журило, 28 лет, росту… белокур, глаза серые… бежал».

Таков был заштатный день скудеющей «столицы древней» летом 1832 года, когда сюда впервые приехал Гоголь.

Он ехал в Москву, чувствуя, как уже совсем иная книга, непохожая на «Вечера», вызревает в его мятущейся душе и просятся на бумагу образы, сотрясаемые разящим смехом, от которого почему-то щемит сердце… И давний замысел комедии, так понравившийся Пушкину, постепенно обретает четкие очертания, даже название есть — «Владимир третьей степени». Вот, правда, цензура… Комедия-то про высшее чиновничество да про орден, дающий дворянство.

В Москве же нужные люди: добрейший Сергей Тимофеевич Аксаков, служивший по цензурному ведомству, директор московских театров, знаменитый исторический романист Загоскин, вездесущий брат-историк, издатель и литератор Михайла Петрович Погодин, ну и, конечно, гордость и слава российской сцены — Щепкин.

Заслышав от заставы мерный перезвон сорока сороков, Николай Васильевич, невзирая на начинающуюся простуду, велел проехать через Красную площадь. Только поклонившись Кремлю и окинув взором уличную толчею, он направился в любимую пушкинскую гостиницу — в дом Обера на Тверской.

Первой заботой Гоголя было проверить портфель с рукописями (во втором портфеле умещался почти весь его гардероб). В молодости писатель питал пристрастие к дорогим

красивым безделушкам — затейливым вазочкам, брелокам, ярким галстукам. С годами, в особенности после знакомства в Италии с аскетом и подвижником кисти Александром Ивановым, строго ограничил себя во внешнем комфорте, и лишь тонкая золотая цепочка часов поверх темного бархата жилета на поздних изображениях осталась данью былым увлечениям.

Другое дело обувь. Гоголь много ходил пешком, ноги у него часто опухали, и он ценил мягкие удобные сапоги; сам придирчиво выбирал для них кожу, бережно ухаживал за ними и всегда держал в запасе неношеную пару. В этих штиблетах его и похоронили.

Когда Александра Осиповна Смирнова-Россет преподнесла ему однажды изумительный портфель английской работы, Гоголь повертел его в руках и, со вздохом вернув, сказал: «Подарите лучше Жуковскому». Он шутил, что избавляется от собственных слабостей, наделяя ими своих персонажей, и, как никто, умел обставлять героев вещами.

Вспомним затейливую чичиковскую шкатулку, фрак «наваринского дыма», ритуальную примерку новых сапог! А Коробочка, Плюшкин, Хлестаков, Подколесин… Едва ли не первым в русской литературе Гоголь понял значение обиходной вещи для острой психологической характеристики человека, тогда как, скажем, у Жуковского вещь еще по большей части знак памяти.

А сам Гоголь! Отмеченные мемуаристами странные пуховые шляпы Гоголя, его неописуемый зеленый плащ, бабьи капоры и кокошники, в которые он вдруг мог нарядиться, встав с пером за конторку и на разные голоса пробуя вслух реплики героев, — все эти «причуды гения», равно как и нарочитая демонстрация «особых» рецептов приготовления итальянских макарон, гоголь-моголя («Гоголь любит гоголь-моголь», — приговаривал он при этом), «Бенкендорфа», то есть жженки с голубым пламенем под цвет жандармских мундиров, помогали замкнутому, болезненно ранимому художнику мистифицировать не в меру любопытных и побеждать природную робость и застенчивость, обживаясь в актерских личинах возможных персонажей.

Личных вещей Гоголя дошло до нас очень мало. Их и было мало у того, чья жизнь пролетела в пути, на чужих квартирах, ***вне быта***. Тем больше эти вещи значили для него.

Они сопровождали писателя десятилетиями, многое видели, многое помнят. На них печать его вкусов и привычек. Они — свидетели творческих мук и вдохновения Гоголя.

Потертый кожаный портфель. Обкусанное перо. Карманные

часы фирмы Буре с выцарапанной на задней крышке надписью: «Гоголь, 1831 г.». Домашняя шапочка. Фарфоровый стаканчик… Простые будничные предметы.

Но сколько волнующих историй связано с ними, сколько имен и судеб!

У Щепкиных садились обедать поздно. Как обычно, собралось человек двадцать пять: свое семейство, воспитанники, пригретые вдовы актеров, гости.

Великого актера покупали и продавали, как вещь: сначала помещица Волькенштейн, потом полтавский генерал-губернатор князь Репнин. На театре он потрясал необычайной правдой и глубиной игры, а по вечерам принужден был надевать лакейскую ливрею и обносить господских гостей дымящимися блюдами, получая иной раз от капризной барыни увесистую оплеуху… Только уже тридцатитрехлетним семейным человеком он был вызволен из крепостной неволи, подобно другому своему великому земляку Тарасу Шевченко.

Однако перенесенные невзгоды и унижения не отразились на природной доброте и сердечности Михаила Семеновича Щепкина, его неподражаемом, чисто украинском юморе. Московские студенты до колик хохотали над потешными щепкинскими рассказами и запросто величали этого тучного, высоколобого человека коллегой, что было ему весьма по сердцу.

…Только он потянулся за любимым своим свекловичным соусом, как в передней появился худощавый молодой человек, совершенно никому не известный. Новый гость медленно снял с плеч летнюю крылатку, поправил перед зеркалом взбитый кок русых волос и, обежав всех лукавыми глазами, громко произнес слова популярной украинской песни:

Ходить гарбуз по городу,
Питається своего роду:
Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?

Хозяин немедленно включился в предложенную игру, низко поклонился на манер малороссийского дядьки, встречающего именитых родичей, и приветствовал нежданного гостя словами:

— А милости прошу до нашего каганцу. Сидайте, пане, зараз буде взвар да каша…

С этого дня утонувший в старом тенистом саду радушный дом Щепкина у Каретного ряда, в Спасском переулке, сделался для Гоголя неизменным пристанищем в его долгих прогулках по

Москве. Часто приносил он сюда в заветном портфеле новую комедию и читал ее труппе Малого театра, показывая актерам, как именно нужно им исполнять ту или иную роль. Щепкин считал, что Гоголь обладал непревзойденным сценическим дарованием. С. Т. Аксаков, вспоминая чтение Гоголем «Женитьбы», пишет: «на сцене… эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора».

17 октября 1839 года Гоголь читал у Аксаковых начало комедии «Тяжба» и большую главу из «Мертвых душ». С ним приехали Щепкин и близкий друг Пушкина П. В. Нащокин. Присутствовавший на вечере И. И. Панаев описал, как все происходило.

Сперва Гоголь отнекивался (очевидно, чтобы сильнее распалить слушателей), затем «нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван… опять начал уверять, что не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и законченного… и вдруг икнул раз, другой, третий… Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.

— Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились… Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю…

Гоголь продолжал:

— Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь…

И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою…

— «Прочитать еще «Северную пчелу», что там такое?..» — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.

Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка… Лица всех озарились смехом… Щепкин заморгал глазами, полными слез…»

На сей раз в уютной гостиной Аксаковых, переехавших из Афанасьевского переулка в дом Штюрмера на Сенном рынке, не было уже того молодого человека в поношенном сюртуке, с чуть намечающейся рыжеватой бородкой и лихорадочным блеском слегка выпуклых задумчивых глаз, который четыре года назад протянул в этой гостиной руку своему сверстнику и, сдерживая короткий сухой кашель, хрипловатым голосом представился:

— Белинский.

…Привычным движением запахнув халат и зябко поеживаясь, он подошел к окну, нерешительно побарабанил пальцами по

стеклу и неожиданно отворил сразу обе фрамуги. В лицо пахнуло запахом прелой земли и жасмина. В чистом утреннем небе над Девичьим полем оголтело носились ласточки. Огромный, запущенный погодинский сад искрился каплями росы.

Гоголь присел на подоконник, потрогал отцветающую гроздь сирени и непонятна чему улыбнулся. Потом затворил окно, медленно вернулся к конторке, бесцельно вроде бы передвинул на верхней доске маленький стеклянный стаканчик для лекарств с золоченым бордюром по ободку и другой, фарфоровый, в форме бочонка, в котором держал перья и карандаши, повсюду возил его с собой и даже собственноручно склеил, когда тот треснул. Неуверенно потянул из него тщательно очиненное перо с глянцевым сизым концом, отложил, взялся за то, что пожиже и покороче, и уже сосредоточенно обмакнул в чернильницу, откинув левой рукой обложку тетради…

Он особенно дорожил этими ранними часами, когда дом еще не наполнили детские голоса и можно в тиши и покое изготовиться к трудам дня.

Еще в начале 1836 года Погодин приобрел настоящую городскую усадьбу, превратившуюся со временем в яркую достопримечательность культурной Москвы. «В его доме в известные дни собирались все находившиеся налицо в Москве представители русской науки и литературы в течение многих последовательных периодов их развития, от Карамзинского до Пушкинского и Гоголевского включительно, и до позднейших времен. Сменялись поколения и направления: он один не менялся и был в постоянном дружеском общении с людьми всех возрастов и классов».

Здесь читали свои произведения Островский и Писемский, выступали с устными рассказами Щепкин, Садовский, Горбунов, играл Н. Рубинштейн, бывали Пушкин, Аксаковы, Хомяков, Тургенев, Тютчев, Л. Н. Толстой. Последний запечатлел погодинский дом на страницах «Войны и мира», в главе, где Пьера Безухова приводят на допрос «в большой белый дом с огромным садом. Это был дом князя Щербатова», приобретенный затем Погодиным.

В одном из флигелей он содержал пансион, в котором учился Фет. В основном же здании помещалось редкостное Погодинское древлехранилище. Древние летописи, грамоты, автографы Каятимира, Ломоносова, Державина, Суворова, Румянцева и других, личные письма и бумаги Петра I, старинное оружие, монеты, наконец, ценнейшая коллекция народных лубков, куда входили листы еще первой половины XVIII века, составляли основу этого богатейшего собрания. Познакомиться с ним

специально приезжали видные западноевропейские ученые. (В 1852 году Погодин продал свое древлехранилище государству.)

В этом-то историческом доме, навещая Москву, обычно и останавливался Гоголь, занимая большую комнату мезонина. Внизу, вдоль всего фасада, тянулся кабинет хозяина — три просторные комнаты, сплошь заставленные книжными шкафами, увешанные картинами и гравюрами, — место традиционного вечернего моциона писателя.

Сын Погодина оставил нам воспоминание о распорядке дня Гоголя:

«До обеда он никогда не сходил вниз… обедал же всегда с нами, причем был большею частью весел и шутлив… После обеда он до семи часов вечера уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил, а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады передних комнат, и начиналось хождение… В крайних комнатах… ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления… Изредка только, бывало, поднимет голову на Гоголя и спросит: «Ну, что, находился ли?> — «Пиши, пиши, — отвечает Гоголь, — бумага по тебе плачет». И опять то же: один пишет, а другой ходит.

Ходил же Гоголь всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Гоголь очень уж расходился, то моя бабушка… закричит, бывало, горничной: «Груша, а Груша, подай-ка теплый платок: тальянец (так она звала Гоголя) столько ветру напустил, так страсть». — «Не сердись, старая, — скажет добродушно Гоголь, — графин кончу и баста». Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх.

…Выезжал он из дома редко, у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор; наконец, он знал, что к отцу приезжали многие лица специально для того, чтобы посмотреть на «Гоголя», и когда его случайно застигали в кабинете отца, он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал».

Но ежегодно 9 мая Гоголь преображался. В липовой аллее накрывали длинный праздничный стол с букетами сирени, вином от Депре, холодными закусками и сладким пирогом, начиненным цукатами, — шедевром надменного Порфирия из купеческого

клуба. Именинник, сама приветливость и любезность, без устали занимал гостей, ни одного не обделяя вниманием. Расходились, пишет сын Погодина, «часов в одиннадцать вечера, и Н. В. успокаивался, сознавая, что он рассчитался со своими знакомыми на целый год».

Так было и в первый, знаменательный именинный обед Гоголя на Девичьем поле 9 мая 1840 года.

С утра он уже успел наведаться по разным адресам, самолично проследить за всеми приготовлениями, вникнуть во все кулинарные подробности и теперь наблюдал, как погодинские дети развешивают в саду над столом разноцветные китайские фонарики и прячут в ветвях деревьев по оба конца стола шутливый сюрприз — клетки с соловьями: вот-то будет удивления, когда под стук ножей и вилок сладкоголосые пробудятся и запоют…

Между тем гости съезжались. На ступеньках крыльца показалась статная фигура Александра Ивановича Тургенева. Блеснули насмешливые очки Вяземского. Под руку с милейшей супругой Екатериной Михайловной, сестрой поэта Языкова, прошествовал поэт-философ и философ-поэт Алексей Степанович Хомяков. Прибыли Елагины, Загоскин, Шевыревы. Рассеянно озирался нежинский «однокорытник» Николая Васильевича профессор Редкий. Щепкин, облокотившись о перила крыльца, поддразнивал младших Аксаковых (у Сергея Тимофеевича страшно разболелись зубы, и он, к величайшему своему огорчению, быть не смог).

Пора было, кажется, и за стол. Гоголь вынул из жилетного кармана часы и ахнул: шестой час, пирог перестоится, да и макароны надо подавать горячими, прямо с плиты. Он собрался уже броситься на кухню, отдать необходимые распоряжения, как ВДРУГ увидел направлявшегося к нему по дорожке приземистого армейского поручика и невольно замер, узнав в нем Лермонтова.

Они обменялись несколькими незначащими фразами, но спустя некоторое время надолго исчезли вдвоем из-за стола, где Лермонтов почти не притрагивался к еде и питью, нервно катая по скатерти хлебные шарики и отвечая на обращенные к нему вопросы светскими недомолвками. Гости, которые разбрелись после обеда по саду, нашли их на скамейке у пруда. Лермонтов читал Гоголю отрывок из «Мцыри». Вскоре, отказавшись от чая, он с холодной вежливостью откланялся и уехал, а Гоголь до конца вечера был молчалив и погружен в себя.

Назавтра они встретились вновь на вечере у Свербеева. И опять при первой удобной возможности уединились от остальных. Присутствовавший там А. И. Тургенев упоминает об их долгой

ночной беседе. О чем говорили наедине два наследника Пушкина? О себе?., о НЕМ?.. Увы, это останется тайной.

Свидеться им было больше не суждено. Лермонтова ждал Кавказ, Гоголь отправлялся в Рим. И горестной эпитафией прозвучали оттуда его слова, посвященные лермонтовской прозе: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой… готовился будущий великий живописец русского быта… Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов».

С Арбата донеслась первая сторожевая колотушка. Из свистящих жгутов метели вынырнул похожий на тумбу фонарщик в неохватном тулупе и завозился у крайнего столба. Сугробы пошли гуще, санный след петлял между ними то вправо, то влево, прижимаясь к обледенелым скрипучим тротуарам.

Гоголь сидел в санях замерзший, усталый. Итак, у него отнимают последний кусок хлеба: он по уши влез за границей в долги, надеясь вернуть их с издания «Мертвых душ». И вот теперь его поэма, которой он отдал семь лет жизни и в которой заключен отныне весь смысл его существования, не выйдет в свет!

Эта бестия Снегирев, получив частным порядком рукопись на просмотр, не обнаружил в ней поначалу ничего предосудительного, однако затем чего-то испугался и заартачился. А тут еще Погодин медведем насел, требуя для своего холопского «Москвитянина» в уплату за одолженные разновременно шесть тысяч ассигнациями либо отрывков из «Мертвых душ», либо каких-нибудь других непубликовавшихся сочинений (и вырвал-таки, пользуясь материальной зависимостью от него писателя, неоконченную повесть «Рим»), Он и право на второе издание «Ревизора» приобрел на самых выгодных условиях, а добавочные сцены без спроса автора распечатал у себя в журнале.

Да, кулаковат (по выражению О. М. Бодянского) был Михайла Петрович и бескорыстия в дружбе не ведал. Даже мягкий С. Т. Аксаков признавал: «…как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «Я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай».

Желая, по видимости, быстрее провернуть дело с поэмой, Погодин (именно он, теперь это выяснилось точно), опять без ведома Гоголя, передал рукопись в московский цензурный комитет. И — напортил. Хитрый, как лиса, Голохвастов, занимавший место президента, едва услыхав название, закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю!

Душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия!» А когда взял в толк, что речь идет о ревизорских душах, еще пуще взбеленился: «Нет, этого и подавно нельзя позволить! Это значит против крепостного права!»

Президента хором поддержали другие члены комитета. «Предприятие Чичикова есть уже уголовное преступление», — твердили они. «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», — пробовал вступиться Снегирев. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души…» Словом, обсуждение напоминало самые фантасмагорические сцены гоголевских комедий (так он не преминул с болью отписать в деталях П. А. Плетневу в январе 1842 года).

Оставалась одна надежда — Белинский. Пусть забирает рукопись в Петербург и при содействии влиятельных друзей писателя постарается там уломать цензуру. Но свидание это надо держать в секрете, упаси бог дознаются Погодин с Шевыревым, Аксаковы, Хомяков и прочие московские славянофилы. Попреков не оберешься! Давно уж хотят перетянуть Гоголя в свой лагерь, ревниво стерегут каждый его шаг… Враждуют. А с кем, позвольте спросить?! «Воспитай прежде себя для общего дела, чтобы уметь точно о нем говорить, как следу(ет). А они: надел кафтан да запустил бороду, да и воображают, что распространяют этим русский дух по русской земле!..»

И сподобилось же такому приключиться в Москве, куда «едешь прямо домой, а не в гости», в Москве, которую Гоголь называл своею родиной, где неоднократно находил бескорыстную помощь и поддержку, откуда пошла его литературная известность.

А ведь как рвался когда-то юношескими мечтами на берега Невы. Боролся, верил. Обрел Пушкина, Жуковского… И все ясе неотвязная нужда, нетопленые углы, неудавшееся профессорство и — главное — ожесточенная травля «Ревизора» продажной прессой окончательно заслонили ему парадное великолепие северной столицы. «Бездушен, как сам Петербург», — часто повторял он впоследствии. «Невский проспект — чудо, так, что перенес бы его, да Неву, да несколько человек в Москву», — обмолвился Гоголь встретившемуся с ним в 1839 году в Петербурге Белинскому.

Роковая петербургская премьера «Ревизора», по сути, надломила жизнь писателя, обрекла на заграничное скитальчество, не оторвав, однако, от родины. «Теперь передо мною чужбина, — обращается он 22 сентября 1836 года из Женевы к Погодину, — вокруг меня чужбина, но в сердце моем

Русь…» И год спустя добавляет: «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему».

Он отменно рисовал (пробуя даже тягаться с Жуковским) и боготворил архитектуру, видя в ней извечный идеал гармонии искусства, к которому мучительно стремился в поздние годы. Листы его «подручной энциклопедии» — толстой конторской тетради «Всякая всячина» — испещрены доскональными чертежами и рисунками фрагментов различных архитектурных памятников, поразивших Гоголя в путешествиях.

Не менее пытливо изучал он образцы московского зодчества, рылся в книгах по истории Москвы, удовлетворяя чрезвычайно развитое чувство прекрасного, не закрывая при этом глаза на отрицательные стороны современной ему московской жизни. Они получили отражение в «Мертвых душах» и других произведениях.

Примечательно, что, чуждаясь, за исключением Рима, больших шумных городов (так, например, ему очень не понравился Париж), писатель охотно сливался с бурлящей московской толпой, чтобы потом внезапно нагрянуть к кому-нибудь из приятелей.

И вот теперь тайком, под покровом темноты, он ехал к Белинскому, наверное, самому близкому по духу человеку, который раньше всех (еще до появления «Ревизора») во всеуслышанье объявил его «главой литературы». И это тоже произошло в Москве, на страницах журнала «Телескоп», в 1853 году.

Белинский сам открыл ему и, покашливая, провел из сеней в жарко натопленную комнату. Тут при колеблющемся пламени двух керосиновых ламп они смогли рассмотреть друг друга. Виссарион Григорьевич заметно постарел, осунулся, под глазами залегли синеватые тени, левое веко подергивалось. «Болен», — сокрушенно подумал Гоголь, обтирая перчаткой портфель и стряхивая снег с шубы.

Но и вид позднего гостя не порадовал Белинского. Сказалось колоссальное напряжение работы над «Мертвыми душами», материальные тяготы, а теперь еще мытарства с цензурой. Гоголь только что перенес затяжную болезнь. «1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости», — замечает П. В. Анненков, деливший с Гоголем комнаты в Риме и переписывавший там набело гениальную поэму. («О моя юность! О моя свежесть!» — вырвалось в ней у автора.)

Угнетали к тому же натянувшиеся до предела отношения с Погодиным, вынужденная необходимость пользоваться его кровом и пищей. Да и с другими московскими опекунами-

кредиторами дело обстояло не лучше…

Все это Белинский разом прочел на помрачневшем, заострившемся лице любимого писателя и поспешно наполнил бокалы шампанским, приготовленным для них заботливым хозяином. Они чокнулись и заговорили.

Через полчаса Гоголь с прежними предосторожностями покинул боткинский дом. Мигающие крапинки звезд уже усеяли ночное небо, и одна, Полярная, словно часовой, взошла над покатой кровлей. Заиндевевшая извозчичья лошадка похрапывала, спускаясь под гору. Поземка лизала полозья, заметала санный след. И долго еще светилось позади сквозь причудливый переплет голых ветвей оконце одинокого флигеля.

Изможденный человек в вольтеровском кресле, с наброшенным на колени пледом, шевельнулся и сделал слабый знак рукой. Лекарь Зайцев, навестивший в этот день больного по просьбе его постоянного врача А. Т. Тарасенкова, на цыпочках приблизился и опустился рядом на стул. Гоголь перевел вбок затуманенный, отрешенный взор, поправил сползающую на затылок смешную круглую шапочку и вдруг попросил Зайцева рассказать о себе.

Скромный лекарь, с трепетом переступивший порог дома Талызина на Никитском бульваре, растерялся. Он знал, что писатель вот уже которую неделю соблюдает обет молчания, отказывается от еды…

Человек в кресле тем временем ободряюще улыбнулся, и Зайцев сразу поборол дрожь волнения. Он признался, что втайне сочиняет стихи, и Гоголь, в последние дни никого не принимавший, отрекшийся от мира и творчества, предложил ему что-нибудь прочитать.

Внезапная ли симпатия к бедному незнакомцу была тому причиной, либо он вспомнил, как самонадеянным юношей отправился завоевывать Петербург с романтическим «Ганцом Кюхельгартеном» и как потом, после жестокого разноса в печати, сгорая от стыда, скупал по книжным лавкам экземпляры злосчастной поэмы. Так или иначе, но безвестный лекарь дрожащим голосом читал в тот день великому художнику, готовившемуся к смерти, нескладные вирши собственного сочинения…

Гоголь слушал внимательно и серьезно, а затем, сняв с головы шапочку, подарил на прощанье Зайцеву. Шапочку Мастера.

Должно быть, она досталась ему в Италии, и Николай Васильевич с тех пор привязался к ней, надевая за работой, так

как всегда мерз.

…Угасающим сознанием он снова перенесся в Неаполь, откуда в апреле 1848 года окончательно вернулся на родину.

За плетеными жалюзи гостиничного окна струился пыльный удушливый зной. Шумело море. И ревел под окном упрямый осел, тщетно осыпаемый ударами босоногого, дочерна загорелого погонщика.

Письмо Белинского в смятом конверте с почтовым штемпелем «Зальцбрунн. Силезия» лежало на столе. Оно настигло его в Остенде, где он лечился по совету врачей, не находя желанного облегчения ни в холодном безрадостном море, ни в душеспасительных беседах с графом Александром Петровичем Толстым и графиней Луизой Карловной Виельгорской. Лишь вечерние прогулки по дамбе с ее дочерью Анной, чувство к которой уже давно переросло рамки дружбы, несколько умеряли душевный разброд и смятение Гоголя.

Он нынче, как никогда, нуждался в ласковом слове и успокоении. Со всех концов стекались к нему возмущенные отклики на «Избранные места из переписки с друзьями». Самые честные и неподкупные судьи обрушили на автора тяжкий приговор — «отступничество» и «предательство». Зато бывшие враги, которых он презирал, подняли имя писателя на щит, именуя при этом Гоголя блудным сыном и раскаявшимся грешником.

И тогда вновь выходом из тупика, последней надеждой и искуплением озарилось перед ним стройное здание второго тома поэмы. Там, там спасение, там будут достигнуты идеал, гармония и примирение с действительностью. Там увидят его главный ОТВЕТ.

Но для этого надо вернуться в Россию, понять, чего она ждет от него, чего хочет.

…Как неприкаянный метался Гоголь по стране: то поедет в Одессу к сыну Трощинского, то в Киев к Данилевскому, то к матушке в Васильевку, то в Петербург. Он постарел, волнистые волосы поредели, глаза ввалились. Даже походка его изменилась: ноги словно бы с трудом отрывались от земли, и ветер больше не летел за ним вслед. Появилась привычка сутулиться, подозрительно вскидывать голову.

Равнодушно листал он теперь журналы, где не затихала схватка вокруг его имени. И только узнав о смерти Белинского, произнес, держась за сердце: «Вот и Белинского нет на свете. Как странно…»

Еще сильнее после этого овладела им тайная жажда простого человеческого счастья, семьи, дома. В Петербурге, на шуршащей

багровой листвой дорожке Летнего сада, он встретился с Анной Виельгорской и открылся ей. Она растерялась. А через несколько дней, отослав своей избраннице горькое прощальное письмо, Николай Васильевич сел в почтовый дилижанс и 14 октября прибыл в Москву. Начиналась последняя, трагическая глава его жизни.

Он поселился в особняке А. П. Толстого на Никитском бульваре, в двух нижних комнатах справа от входа. Диваны по стенам, печка с топкой, заставленная гардинкой зеленой тафты, крытый зеленым сукном стол и второй такой же, на столах кучки книг, ширмы у кровати в спальне… Так выглядело последнее московское пристанище писателя, где ему суждено было провести два года и где он скончался.

Некоторые мемуаристы полны благостного умиления: «Тихое, уединенное помещение и прислуга, готовая исполнять все его малейшие прихоти». Но вот что пишет первый биограф Гоголя П. А. Кулиш матери писателя: «Вы бы изумились, если бы узнали, какими деньгами Николай Васильевич покупал ласковый взгляд прислуги во время пребывания своего у Толстого, у Виельгорских, у Смирновых и у других».

Но были и другие люди, другая Москва, среди которых Николай Васильевич на короткий срок оживал и вновь становился прежним Гоголем. Отложив перо, он «надевал шубу, а летом испанский плащ без рукавов и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частию налево от ворот». С. Максимов, член кружка Островского, вспоминает, с каким трепетом ходили они студентами на Никитский бульвар «любоваться, как гулял Гоголь».

Его манили сохранившиеся до наших дней уголки старой Москвы, где ему доводилось в разное время общаться с П. Я. Чаадаевым, Е. А. Баратынским, с приезжавшими в Москву художниками И. К. Айвазовским и П. А. Федотовым, с декабристами М. М. Нарышкиным и И. А. Фонвизиным. Не забыл он и покосившийся дом Гурьева на Трубной улице (ныне № 32), в котором раньше квартировал Грановский. У него-то, по всей вероятности, Гоголь и сблизился тогда с одним из учеников этого кумира передового московского студенчества — Николаем Огаревым…

Его по-прежнему всегда ждали в скромной теперь квартире Щепкина, и неутомимый исследователь памятников древнего московского зодчества архитектор Ф. Ф. Рихтер готов был часами рассказывать ему о своих открытиях. А до чего славно бывало после сумрачного толстовского дома всласть почаевничать вечером у Хомяковых, втайне наслаждаясь терпеливой заботой

добрейшей Екатерины Михайловны, к которой Гоголь необыкновенно привязался.

Летом же он пользовался всяким удобным случаем вырваться на неделю-другую из города. В аксаковском Абрамцеве любил терпеливо караулить с Сергеем Тимофеевичем поплавки удочек на берегу сонной Бори, ходить в лес по грибы и ягоды, слушать после ужина в тесном семейном кругу «Семейную хронику», дивясь красочности описаний природы и радуясь, что подтолкнул старика к этой благодатной теме, а потом — спокойно засыпать в диковинном кресле-лягушке с выдвижной подставкой для ног, которое Николай Васильевич предпочитал обычной кровати и которое бережно хранится в усадьбе.

В хорошую погоду он просил заложить коляску и, пристроив на коленях неразлучный портфель, наведывался к Путятам в Мураново, к Смирновой в Калугу, в Бегичево, в Спасское… Дорога, как всегда, залечивала душевные раны, дарила свежими впечатлениями. Дорогой из портфеля часто извлекалась «Всякая всячина», куда бисерным почерком заносились названия встреченных растений и новые слова.

Эту книгу юности, книгу надежд, начатую записями народных преданий и пространными историческими штудиями, он увез мальчиком из имения дальнего родственника матери Д. П. Трощинского и не расставался с нею до смертного часа. Она — зеркало интересов и увлечений писателя на протяжении всей жизни.

Главным среди них был театр.

Мы знаем, что Гоголя мало удовлетворяли постановки его пьес, хотя в лице Щепкина он и обрел наиболее совершенного для того времени воплотителя своей драматургии, могучего единомышленника на путях развития нового, реалистического искусства. Даже испытывая глубочайший духовный кризис, отрешившись от всего, чем он жил и страдал, Гоголь не мог предать забвению театр и вынашивал мысли о его улучшении.

15 октября 1851 года Николай Васильевич был с Аксаковыми на спектакле «Ревизор» в Малом. «Посмотрите, какие толпы хлынули на его комедию, посмотрите, какая давка у театра, какое ожидание на лицах!..» — писал в 1836 году московский журнал «Молва». Много воды утекло с тех пор. Хлестакова играл Шумский. Гоголь, забившийся в темный угол ложи, слушал внимательно и раз или два хлопнул. После этого спектакля он укрепился в решении личным чтением разъяснить текст пьесы для ее исполнителей.

Разным казался он теперь одним и тем же людям. И. С. Тургенев, видевший его в театре, поразился перемене,

которая произошла в Гоголе с 1841 года, когда они дважды встречались у А. П. Елагиной, племянницы Жуковского, хозяйки популярного в Москве литературного салона у Красных ворот. Тогда Гоголь весело шутил и озорничал с не отходившими от него сыновьями Авдотьи Петровны — известными литераторами братьями Киреевскими. Теперь он выглядел «человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица».

Однако когда через неделю Щепкин привез Тургенева к Гоголю, тот оказался приветлив и оживлен, «с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми» (В. П. Боткин вспоминает, как у Васильчиковых «Гоголь месяца за два до смерти… сказал, «что во всей теперешней литературе больше всех таланту у Тургенева»). Иван Сергеевич, описывая их встречу в доме А. П. Толстого, продолжает: «Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность… Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям… и все это — языком образным, оригинальным…»

Проницательный наблюдатель, И. С. Тургенев оставил нам великолепный портрет Гоголя: «Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым…»

В эти дни О. М. Бодянский познакомил с Гоголем бывшего в Москве проездом молодого литератора Г. Данилевского. Сопоставив его своеобразное изображение внешности писателя с тургеневским, можно получить довольно полное представление об облике Гоголя в последнюю зиму его жизни.

«Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и темнозеленый бархатный жилет… Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим… осторожным глазам что-то птичье,

наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь… был очень похож на свой портрет, писанный… знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими».

В беседе с Тургеневым Николай Васильевич «объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать».

Долгожданное чтение состоялось 5 ноября «во второй комнате квартиры гр. А. П. Толстого, влево от прихожей, — указывает Данилевский. — Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване». В числе собравшихся мемуарист называет И. С. Аксакова, С. П. Шевырева, И. С. Тургенева, Н. В. Берга и других писателей, актеров М. С. Щепкина, П. М. Садовского, С. В. Шумского. Это чтение стало последним публичным выступлением Гоголя, и он готовился к нему очень сосредоточенно.

На удивление Тургенева, «далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости».

Однако увлекшись чтением, Николай Васильевич вошел во вкус и произвел на слушателей потрясающее впечатление «чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный… С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах… «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить — обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор».

Тем же восхищением проникнут и рассказ Данилевского о неподражаемом гоголевском исполнении монологов Хлестакова, Ляпкина-Тяпкина и особенно сцены между Бобчинским и

Добчинским. «У вас зуб со свистом», — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка прерывал его… Чтение под конец очень утомило Гоголя…»

Тем не менее он не ограничился только этим авторским «показом», а через несколько дней «опять явился в театре (в ложе позади других) посмотреть, как исполняется пьеса после его замечаний». Но ему уже сильно неможилось. На третий день после чтения «Ревизора», 8 ноября, Гоголь навестил только что перенесшего опасные операции М. Н. Загоскина, который, по словам сына, «нашел в нем большую перемену как в физическом, так и в нравственном отношении и вместе с тем пришел к убеждению, что наш великий писатель несомненно должен быть серьезно болен».

…Он и сам чувствовал это. И спешил. В двух типографиях печатались его книги; на круглом столике посредине комнаты громоздились корректуры; Гоголь вычитывал их тщательно, снова и снова отыскивая погрешности слога, вымарывая безжалостно все неясное, неточное, поспешное. Надо было успеть до весны выдать в свет полное собрание своих сочинений, чтобы скорее уехать на юг, в Одессу, к теплому морю, к солнцу.

Но как уедешь, когда здесь, на Никитском бульваре, в сумрачном доме Толстого, прячет он под доской конторки главное — «Мертвые души, второй том». Совершенно законченный и переписанный набело в синих тетрадях, схваченных бечевкой. Прячет от себя и людей, хотя сын декабриста Е. И. Якушкин сообщает в письме от 16 ноября 1851 года, что в эти месяцы «Гоголь собирается печатать 2-й том «Мертвых душ», который окончен совершенно и который он уже читал у Назимова».

Читать-то читал, и не у одного Назимова, а вот все не решится выпустить из рук итог труда последних трех с половиной лет, ибо на улице, в церкви, в гостиной складывается в его голове другая книга, прежняя, насмешливо-жуткая. И несутся в захолустный Ржев, к отцу Матвею длинные покаянные письма.

И терзает себя художник постами и молитвами, силясь изгнать беса сомнения.

Его видели на коленях у алтаря плачущим. На паперти — торопливо раздающим милостыню нищим и кликушам и просящим у них прощения за что-то. У ворот Преображенской больницы, обители безумных, и в Оптиной пустыни, у старцев-отшельников… Когда темнело, он поднимался к графине Толстой, чтобы стоять с ней вечерню и класть перед образами

покаянные поклоны. Ночами просиживал над евангелием, писал «сочинение о божественной литургии», раздавал знакомым листки с молитвами.

Странно было видеть таким автора «Ревизора» и «Мертвых душ», и ползли по Москве глухие слухи о неизлечимой душевной болезни Гоголя. Злорадствовали враги, печально вздыхали друзья. А между тем здоровье Николая Васильевича несколько улучшилось; он вновь принялся за работу и даже затеял у Кошелевых на Поварской небольшую музыкальную вечеринку — хотел угостить приятелей народными украинскими песнями, переложенными с его голоса на ноты одной из дочерей С. Т. Аксакова.

Вечер назначили на воскресенье 27 января 1852 года. Но в субботу тридцати пяти лет от роду скончалась от тифа Екатерина Михайловна Хомякова. Снежная, метельная выдалась в том году зима, ледяной ветер перехватывал дыханье. До Тверской сквозь сугробы не пробьешься. Гоголь насилу сыскал извозчика. Ворвался к Хомяковым, весь дрожа, с криком: «Погодите! Погодите! Она не умрет, я вымолю ее у смерти!» Потом, забыв запахнуть шубу, погнал извозчика к Страстному монастырю, откуда побежал по бульварам домой и в ознобе слег.

Несколько дней пролежал без сил, с температурой, под одеялами и шубами, все не мог согреться и повторял, как в бреду, что с Екатериной Михайловной для него снова умирают многие, которых он любил всей душой, особенно же брат ее, закадычный ДРУГ — Николай Языков. Наконец постепенно пришел в себя, голова прояснилась, и уже перебрался было с дивана к конторке, как тут заявился преподобный Матвей Александрович в выцветшей рясе.

Вслед за его отъездом с Гоголем началась та «духовная агония», которая повлекла за собой стремительное физическое разрушение.

Доктор Тарасенков подтверждает: «С этих пор он бросил литературную работу… стал есть весьма мало, хотя, по-видимому, жестоко страдал от лишения пищи… и сон умерял до чрезмерности… Это все не могло не обнаружить на его организм сильного действия».

Приближалась развязка.

Слабо потрескивая, догорает на конторке свеча. Колеблется желтый свет лампадки в углу перед образом Николая Мирликийского, чудотворца. В темноте, откинувшись на спинку кресла, Гоголь слушает вой ветра за окном и царапанье сучьев по стеклу.

Мы не знаем, о чем думал, о чем вспоминал он в этот роковой, страшный для себя миг. Нам известно только то непоправимое, что случилось потом.

Тяжело ступая, подошел он к конторке, возможно, задержался взглядом на любимых печатках с ручкой слоновой кости, усмехнувшись про себя, что не к чему будет прикладывать их больше, — и осторожно вытащил связку тетрадей. Кликнув из соседней комнаты Семена, велел растопить печь. Напуганный спросонья мальчик, чуя неладное, плакал, умоляюще шепча: «Не надо, барин! Не надо!» — «Молчи, молчи!» — не попадая зуб на зуб, тоже шепотом отвечал Гоголь и, приоткрыв чугунную заслонку, начал стоймя всовывать между поленьями исписанные тетради.

Ровные строчки корчились в пламени, не желая исчезать, но все же страница за страницей обращались в пепел. И с ними навсегда уходили от нас и наших потомков похожий на масленый блин Петр Петрович Петух, Тентетников, генерал Бетрищев и неузнаваемо преобразившийся Павел Иванович Чичиков. Ах, если бы рукописи и на самом деле не горели!..

Когда огонь принялся пожирать последнюю тетрадь, Гоголь вернулся в спальню, лег на диван и повернулся лицом к стене. Теперь ничто не способно было пробудить его к жизни. Он упорно молчал, отводил слабой рукой пищу и лекарства и лишь едва слышно бормотал в ответ на самые докучливые приставания врачей и близких: «Оставьте меня, мне хорошо».

Время от времени он просил пить и снова погружался в мягкую дремоту.

21 февраля (4 марта по новому стилю), под утро, он проснулся и жалобно вскрикнул. Прикорнувший не раздеваясь у дивана мальчик Семен вскочил и, увидев, что барин его судорожно мечется на постели, весь покрытый потом, бросился за хозяином.

А Гоголь уже ничего не слышал. Задыхаясь, он бежал вверх по скользким ступеням к брезжущему впереди свету. Но ступени оборвались. «Лестницу! — прошептал Николай Васильевич, пытаясь приподняться. — Лестницу… скорее…»

Когда граф вбежал в комнату, все было кончено: Гоголь умер.

25 февраля 1852 года Гоголь был погребен иждивением Московского университета на кладбище Данилова монастыря.

С утра припустил легкий, пушистый снежок; деревья, мостовые, крыши домов переливались и сверкали на солнце голубыми искрами. Ясная, солнечная погода держалась весь день.

Нескончаемая вереница людей тянулась к университету проститься с народным печальником. Встревоженный генерал-

губернатор граф Закревский, опасаясь «беспорядков», распорядился закрыть проезд по Моховой и Никитской, отправил туда наряды полиции и чиновников Третьего отделения собственной его величества канцелярии.

Отпевание тела, утренняя и вечерняя панихиды шли под негромкий звон колокола университетской церкви.

Гоголь лежал в гробу в лавровом венке. Камелии, иммортели, лилии рассыпались по скромному черному сюртуку.

Народ все прибывал. Студенты, мелкие чиновники, мастеровые, художники, модистки, дворовые люди приближались к помосту, плакали, молились, целовали желтую холодную руку и, сорвав на память листик венка или лепесток цветка, оставались на площади в ожидании погребения.

Пять профессоров Московского университета подняли гроб на руки и понесли к ожидавшей толпе. Увы, не было среди них ни Погодина, ни Шевырева, ни Константина Аксакова, ни Хомякова. Взбешенные тем, что похоронами распоряжались ненавистные им профессора-«западники», они демонстративно отказались участвовать в траурной процессии.

Манежная площадь, Моховая и Никитская чернели от простого люда, и все тотчас обнажили голову при виде медленно плывущего из дверей церкви гроба. Не дав водрузить его на погребальную колесницу, худо одетые люди бережно приняли гроб с телом великого писателя из рук почтенных профессоров и понесли по улицам до самого Данилова монастыря. И такое несметное число народа двигалось за гробом Гоголя, столько пролеток и экипажей, что какой-то приезжий мещанин остановился в изумлении и спросил одного из студентов:

— Неужто все это его родственники и друзья?

— Да, — ответил студент, — а вместе с ними и вся Россия!

Уже смеркалось, когда гроб с телом Гоголя опустили в глубокую могилу рядом с поэтом Языковым и Екатериной Михайловной Хомяковой. На могилу положили надгробный камень, на котором сделали надпись:

«ГОРЬКИМ СЛОВОМ МОИМ ПОСМЕЮСЯ».

ЯБЛОКИ ИЗ САДА ДОСТОЕВСКОГО

Подлинно высшее правило жизни:
ловить точку.

Ф. Достоевский

I

Божедомка. Некогда нищая окраина Москвы. Ветхие, покосившиеся крыши домов, кладбищенские кресты, лес по сторонам проселочной дороги, которой гоняли арестантов и брели странники… Таков круг детских впечатлений Федора Михайловича Достоевского.

Он родился в служебном флигеле при Марьинской больнице для бедных, где работал его отец, и провел здесь первые шестнадцать лет жизни.

«Отец наш… имевший в то время 4–5 человек детей, пользуясь штаб-офицерским чином, занимал квартиру, состоящую, собственно, из двух чистых комнат, кроме передней и кухни, — вспоминает младший брат писателя Андрей Михайлович. — В задней части… передней отделялось с помощью дощатой столярной перегородки, не доходящей до потолка, полутемное помещение для детской. Далее следовал зал… Потом гостиная в два окна на улицу, от которой тоже столярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей… Кухня… была расположена особо, через холодные чистые сени; в ней помещалась громадная русская печь и устроены полати; что же касается до кухонного очага с плитою, то об нем и помину не было! В холодных чистых сенях, частию под парадною лестницею, была расположена большая кладовая. Вот все помещение и удобства нашей квартиры!»

Обстановка ее также отличалась почти спартанской простотой. Клеевая краска стен: перловая в передней и детской, канареечная в гостиной и темно-кобальтовая в спальне (бумажные обои тогда еще не вошли в употребление). Огромные голландские печи, облицованные так называемым ленточным изразцом с синими каемками, непритязательный обеденный стол, стулья березового дерева «под светлою политурою» и диваны, любой из которых «мог служить двухспальной кроватью», так что никоим образом нельзя было облокотиться на их спинку, «а надо было всегда сидеть как с проглоченным аршином». Кроватями

братьям служили еще сундуки в детской, сестрам — в спальне родителей (в последних, за неимением платяного шкафа, хранился весь гардероб матери). Ни портьер, ни гардин на окнах — их заменяли белые коленкоровые шторы без всяких украшений…

Казалось бы, несложно было воссоздать столь «нехитрый» интерьер. Но сотрудники Гослитмузея, во всеоружии знаний, любви, опыта, потратили на это годы. Подготовка новой, мемориальной экспозиции потребовала капитального ремонта дома, кропотливых научных изысканий специалистов, которые легли в основу проекта восстановительных работ.

Реставраторам пришлось основательно заняться фундаментом — его разрушали грунтовые воды. В стенах же шаг за шагом открывали заложенные прежде некоторые дверные и оконные проемы, примыкающий к квартире старый больничный коридор. Постепенно флигель вновь обретал свою первоначальную планировку. А внутри заблестели кафелем печи, прихожую разделила деревянная перегородка, пол покрылся широкими сосновыми досками.

Обследуя одну ив комнат, архитекторы и художники-реставраторы обнаружили чудом уцелевшую дверь 30-х годов прошлого века, которая послужила прообразом для изготовления всех остальных. И вот преображенный флигель с каменными львами над калиткой ограды принял первых посетителей…

Давно уже одно название осталось от когда-то буйной Марьиной рощи, куда по воскресеньям ходил гулять с родителями маленький Федя Достоевский. Неузнаваемо изменились с тех пор и здешние окрестности. Монументальное здание Театра Советской Армии заслонило косой изгиб бывшей Божедомки, ныне улицы Достоевского. Но дом под номером два останется прежним. Как и классический фасад Марьинской больницы — творение Жилярди и Кваренги. Вслед за Ленинградом и Старой Руссой мемориальный пейзаж вокруг московского Музея-квартиры писателя органично дополняет бережно воссозданную в нем атмосферу жизни и творчества Достоевского.

Атмосферу детства гения передать, наверное, труднее всего. Однако тут она неприметно и неназойливо сопровождает нас из комнаты в комнату. И хотя Достоевский покинул флигель на Божедомке, еще ничего не написав, ощущаешь в этих стенах истоки его художнической судьбы.

О многом говорит висящий над сундучком-кроватью в детской пушкинский портрет, подобный тому, с которым Федор Михайлович не расставался всю жизнь. Живой еще тогда поэт

часто делался предметом ожесточенных споров в кругу семьи Достоевских. Старшее поколение отдавало предпочтение маститому Жуковскому, младшее защищало своего кумира. И плакало горькими мальчишескими слезами над списком лермонтовского стихотворения «Смерть поэта»…

Любовь к Шиллеру пришла позднее, но тоже в этом доме. А затем — штудии «Истории» Карамзина. Ломберные столики в зале с раскрытыми на них учебниками по очереди испытывали терпение и усидчивость братьев Достоевских (карты в доме были под запретом). Кажется, так и слышишь здесь старательную латынь Михаила Андреевича и сонное бормотание наемных учителей.

Каждая вещь в квартире имеет свою семейную биографию. Акварель работы довольно известного тогда художника Михайлова изображает Даровое — небольшое имение, купленное отцом, где семья нередко проводила летние месяцы и где впоследствии при невыясненных обстоятельствах был убит мужиками Михаил Андреевич. Письма десятилетнего Достоевского к матери в Даровое находятся тут же, на столике в зале, а единственные дошедшие до нас портреты родителей писателя украшают стену гостиной.

Старинный бронзовый канделябр, так не вяжущийся с более чем скромной обстановкой, перекочевал сюда с приданым матери, Марьи Федоровны, урожденной Нечаевой, дочери богатого московского купца, потерявшего все свое состояние в 1812 году. Его будущий зять из древнего, но обедневшего дворянского рода встретил нашествие французов полковым лекарем и был при Бородине. О причастности семьи Достоевских к событиям Отечественной войны напоминает старая гравюра «Бородинская битва», под которой вечерами собирались в гостиной, читали вслух, музицировали.

Распорядок в доме был строгий. Вставали в шесть. В восьмом часу утра отец уже шел в больницу. В его отсутствие убирали комнаты, топили печи, дети садились за уроки. Вернувшись с обхода, Михаил Андреевич пил чай и ехал «на практику». Обедали в первом часу дня, после чего отец удалялся в гостиную отдохнуть, «ив это время в зале, где сидело все семейство, была тишина невозмутимая, говорили мало и то шепотом, чтобы не разбудить папеньку». В четыре часа дня пили вечерний чай, и затеял отец вторично отправлялся в палату к больным или заполнял «скорбные листы». В девятом часу вечера, не раньше не позже, накрывали обыкновенно ужинный стол, и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом, прочитывали молитву и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное

препровождение времени повторялось ежедневно — сообщает младший брат Федора Михайловича — и «исключения были только в дни масленицы».

Ламп в доме не водилось, Михаил Андреевич не любил их за неприятный запах горящего постного масла. Стеариновые свечи тогда еще не продавались, «восковые же зглись только при гостях и в торжественные семейные праздники», когда приходили дедушка по матери Федор Тимофеевич Нечаев, благодушный старичок лет шестидесяти пяти, его старший зять Александр Алексеевич Куманин с женой Александрой Федоровной, которой суждено было сыграть значительную роль в жизни Достоевского. Располагая крупным состоянием, она поддерживала и воспитывала рано осиротевших детей сестры, а после возвращения Федора Михайловича с каторги давала ему деньги на издание журналов «Время» и «Эпоха». Исследователи считают, что писатель вывел ее в образе бабушки в «Игроке».

Захаживал к Достоевским по вечерам и младший брат матери Михаил Федорович Нечаев, с которым она была очень дружна. Его приход означал для детей праздник, ибо «сопровождался всегда маленьким домашним концертом». Марья Федоровна, по свидетельству очевидцев, хорошо играла на гитаре, а Михаил Федорович — так просто артистично. Одна из его гитар постоянно находилась у них в доме. «И вот, бывало, после обеда маменька брала свою гитару, а дядя — свою, и начиналась игра. Сперва разыгрывались серьезные вещи по нотам… а в конце игрались веселые песни, причем дядя иногда подтягивал голосом… И было весело, очень весело».

Немало светлых, чисто московских впечатлений унес с собой в Петербург Федор Михайлович Достоевский из флигеля на Божедомке.

Старинная миниатюра на слоновой кости — портрет прадеда писателя по матери М. Ф. Котельницкого (отца профессора Московского университета). Человек необычной судьбы, расстригшийся священник, а потом корректор Синодальной типографии, основанной еще Иваном Федоровым, он обладал широкой культурой и тонким художественным вкусом, знал много иностранных языков, был вхож в библиотеку Строгановых и мог общаться с Новиковым. От него будущий писатель унаследовал дух книжничества, интерес к религиозно-философским вопросам.

Недаром так манил подростка отцовский книжный шкаф в гостиной с разнообразно подобранной литературой. Он и теперь стоит на своем прежнем месте. Поодаль, в зале, — выцветшая афиша Большого театра, память другого отроческого увлечения,

сохранившегося на всю жизнь.

…Ломкий лист прошения отца об отставке и дата — 1837 год — как бы подводят черту под московским периодом жизни Достоевского. Выходишь из тихого флигеля старой тропинкой больничного парка, прощаешься с меркуровским памятником великому правдоискателю и встречаешь у ворот новых людей, направляющихся по адресу его детства.

II

«Так как вопрос о даче для нас слишком важен… кажется, наверно наймем в Старой Руссе, тем более, что уже очень много удобства — дешевизна, скорость и простота переезда и, наконец, дом с мебелью, кухонной даже посудой, вокзал с газетами и журналами…» Это строки из письма Федора Михайловича к сестре от 20 апреля 1872 года. В мае колесный пароход под причудливым названием «Алис» доставил его с семьей на пристань Красного берега.

Последние годы жизни Достоевского — время «фантастических идей», пугающих провидческих озарений, новых художественных вершин, обретенного семейного покоя и счастья. Итоговые годы эти накрепко срослись с уездным городком Новгородской губернии, известным своим курортом и грязелечебницей. Для нас сегодня он — место, где создавались «Бесы», «Подросток», главы «Дневника писателя», «Братья Кармазовы», Пушкинская речь.

Не таким уж «скорым и простым» кажется тогдашний путь сюда из Петербурга. Сперва — по Николаевской «чугунке» до станции Чудово, где пересаживались на узкоколейную ветку в Новгород. Оттуда надо было пересечь озеро Ильмень, проплыть по Ловати, а затем уже — рекой Полистью до Старой Руссы.

Еще сложнее выглядело возвращение осенью в Петербург. Из-за спада воды в реке пароход не доходил до города. Зимой же Новгород со Старой Руссой связывал лишь санный путь. На бескрайней снежной глади Ильмень-озера ничего не стоило заблудиться. Поэтому обычно выбирали более длинную, но и более надежную «почтовую» дорогу в объезд.

К концу жизни провинциальная Россия начинает все больше тревожить воображение писателя. От зыбких фонарей, мокрых мостовых, подвальных трактиров и каменных дворов-колодцев ***своего*** Петербурга он обращается к ней за ответами на жгучие вопросы современной ему действительности. И находит их в Старой Руссе — Афимьевске «Подростка», карамазовском

Скотопригоньевске…

Необходимые писателю контрасты встречались тут на каждом шагу. Глухое течение уездной жизни таило неожиданные во, доворо-ты. Эхо социальных конфликтов отдавалось в тихих, уютных улочках.

На десять-двенадцать тысяч жителей приходилось тогда почти три десятка церквей и «несчетное множество питейных заведений». Мрачно темнели неподалеку от древнего монастыря кирпичные казармы бывших аракчеевских военных поселений, центром которых долгое время являлась Старая Русса. Гудели скотопригонный рынок и тракт, прорезавший весь город…

«Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешенном) здешнего Вильманстрандского полка, — сообщал Федор Михайлович. — Он, говорят, представлялся сумасшедшим до самой петли…»

То была вторая за десятилетие и третья с начала царствования казнь политического преступника, вызвавшая широкий общественный резонанс. По дневниковому свидетельству А. С. Суворина, Достоевский в задуманном продолжении «Братьев Карамазовых» героя своего «хотел провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили».

«Он» — это отнюдь не Дмитрий, какими-то чертами неуловимо напоминающий Дубровина, а «тишайший» Алеша, авторский идеал, само воплощение нормы среди «ненормальных». Известно, что именно его писатель тем не менее собирался привести к цареубийству.

Мысль *о таком* Алеше Достоевский вынашивал, пристально всматриваясь в людей, подобных Дубровину, пытаясь за их внешним «безумием» увидеть нечто иное.

Столь же внимательно обследовал он для своих произведений полюбившийся ему город, исходив Старую Руссу вдоль и поперек, чтобы точно указать, где находился дом Грушеньки Светловой, трактир «Столичный город», памятный нам по неистовым кутежам Мити и трагическим философствованиям Ивана, знаменитые мостики через «Малашку, речку нашу вонючую», на одном из которых Алеша повстречал Илюшечку Снегирева… Знаком был писатель и с Мокрым — селом Буреги, некогда почтовой станцией по дороге на Новгород. В соседних же Устриках, названных в «Бесах» Устьевым, завершается «Последнее странствие Степана Трофимовича»…

Но прежде всего — сам дом Достоевских, купленный в 1876 году после смерти владельца. Построенный «во вкусе немцев прибалтийских губерний», он «был полон неожиданных

сюрпризов, потайных стенных шкафов, подъемных дверей, ведущих к пыльным винтовым лестницам».

Сравним это описание Любови Федоровны с обликом дома отца Карамазова, в котором тоже «много было разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок».

Война не пощадила старый деревянный особняк на тенистой набережной Перерытицы, объявленный революцией «неприкосновенным историко-литературным памятником». Погибли под бомбами в краеведческом музее и хранившиеся там личные вещи семьи. Десятилетиями возрождались дорогие нашему сердцу стены. Сперва удалось восстановить две мемориальные комнаты. А затем состоялось долгожданное открытие Дома-музея.

…Цилиндр с лайковой перчаткой под высоким зеркалом в прихожей, любимые книги, фисгармония в гостиной, склянка с сигнатурой из старорусской аптеки на столике в кабинете, портфель для бумаг, украшенный монограммой Анны Григорьевны, в углу дивана ее спальни, вышитое ею полотенце…

13 июня 1880 года, по возвращении в Старую Руссу спустя несколько дней после прощального своего триумфа — Пушкинской речи, Федор Михайлович отправляет следующее послание:

«Глубокоуважаемая Вера Николаевна, — пишет он. — Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее мое уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабываемого для меня знакомства нашего».

Вера Николаевна — жена Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи. По его заказу Перов написал накануне первого приезда писателя с семьей в Старую Руссу портрет Ф. М. Достоевского, больше всего любимый Анной Григорьевной. Сегодня он (превосходная копия) украшает разноцветно застекленную веранду. «Закрытая веранда с разноцветными стеклами была нашим единственным удовольствием», — вспоминала дочь писателя, Любовь Федоровна.

Благодаря охранной зоне естественное природное окружение молодого филиала Новгородского историко-культурного заповедника, близлежащие улицы, «Малашка», мостики словно переносят нас в семидесятые годы прошлого века, позволяют пройти привычными маршрутами писателя и его героев. Даже уличный фонарь, отчетливо видный на фотографии 1871 года, не забыт перед воротами усадьбы. Казалось бы, мелкий штрих, но

какой выразительный!

То же самое и во дворе, важной части мемориального комплекса. Грубый булыжник под ногами, почему-то особенно нравившийся Федору Михайловичу, каретник, качели («…Фома тотчас вбил винты и повесил, и дети принялись качаться», — писала Анна Григорьевна мужу в Эмс 7 июля 1876 года). А главное — непритязательные раскидистые грушовки в саду, как раз те, что сажал и заботливо выращивал хозяин дома. Он любил терпкий привкус этих небольших, сморщенных яблок, любил свои грядки с клубникой, кусты смородины.

Их разводят сейчас сотрудники музея и специалисты, в точном соответствии с руководствами второй половины XIX столетия.

«Дмитрий Федорович вел гостя в один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки…»

Будет вскоре и памятная беседка, и все остальное. А вот рубленая банька, возле которой Дмитрий в ночь убийства отца перелез через забор и направился к дому, уже стоит на прежнем месте.

«…Мы очень полюбили Старую Руссу, — вспоминала Анна Григорьевна, — и оценили ту пользу, которую минеральные воды и грязи принесли нашим деткам… у нас, по словам мужа, «образовалось свое гнездо», — куда мы с радостью ехали ранней весною и откуда так не хотелось нам уезжать позднею осенью».

Нет, он не подводил итогов, не готовился к смерти. За тридцать пять дней до кончины писал: «А теперь еще пока только леплюсь. Все еще только начинается…» Он думал о будущем, уносился в далекие времена, мечтал о новых мирах («будущая наука», «атеизм», *«правда человечества»*… «Россия через два столетия» рядом с «померкшей, истерзанной и оскотиневшейся Европой с ее цивилизацией»).

Его одолевали грандиозные планы, ослепительная фантазия рождала гениальные наброски. Десятки, сотни, лихорадочно на бегающие один на другой:

«РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ И О ГЕРОЕ — РЕБЕНКЕ… Заговор детей составить свою ***детскую империю***. Споры детей о республике и монархии… Дети — поджигатели и губители поездов. Дети обращают черта…»

Или: «Фантастическая ***поэма***-роман: будущее общество, коммуна, восстание в Париже…»

Еще: «Житие Великого грешника… огромный роман… Объемом в «Войну и мир»…»

Внезапно — уже чисто блоковское: «…Христос, баррикада…»

А впереди — написанное: «Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития». И — ненаписанное *главное* продолжение «Карамазовых»: Алеша уходит в революцию и гибнет на плахе…

Текли стремительно отрешенные ночные часы, росла на конторке стопка исписанных листов, светлела холодная заря над верхушками прозрачного, как дым, северного леса.

Он в упор рассматривал зло и смерть, потому что искал силы сопротивления злу и смерти.

Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком
Как некий дух взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем…

И находил их в работе, предвидя даже то, на что мы и сегодня, и завтра будем изумленно шептать: «Не может быть! Откуда он это знал?!»

Последние весточки из Старой Руссы все о том же:

«Я здесь, как в каторжной работе, и, несмотря на постоянно прекрасные дни, которыми надо бы пользоваться, сижу день и ночь за работой — кончаю Карамазовых».

Он уезжал до весны, укутав от холодов стволы яблонь.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД

Поезд приближался к Москве.

Унылой чередой потянулись железнодорожные мастерские, склады, горы угля, штабеля дров.

Лев Николаевич не отрываясь смотрел в окно вагона. Выражение лица его стало меняться, взгляд сделался тусклым и безжизненным.

Над крышами встречного порожняка вынырнула колокольня Новодевичьего монастыря, за ней невообразимое нагромождение домов и домишек вокруг бесчисленных церквей.

Лев Николаевич совсем помрачнел.

— Вот Вавилон, — тихо и сокрушенно произнес он.

Так описывает добрый знакомый Толстого, литератор А. П. Сергеенко, последний приезд Льва Николаевича в Москву 18 сентября 1909 года.

Толстому шел тогда восемьдесят второй год. «Вавилоном» называл Москву и Левин в «Анне Карениной». А Левин — это тридцатилетний Толстой.

За восемь лет, что писатель здесь не был, начался новый, наш век, и первопрестольная успела сильно измениться, превратившись в миллионный человеческий муравейник, втиснутый в камень. Здания кичливо устремились вверх. Вместо покойных конок появились громыхающие трамваи и стреляющие едким сизым дымом авто.

Изменился и сам Толстой, пойдя еще дальше в своем решительном неприятии города. Вспомним начало романа «Воскресение», создававшегося в Москве: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались…»

Давно уже хотел Лев Николаевич распрощаться с Москвой, но разные обстоятельства вновь и вновь приводили его сюда.

Москву он впервые увидал мальчиком в год смерти Пушкина. Впечатление от древней столицы было огромным и сохранилось в классном сочинении. Пройдут годы, и герой незаконченного романа «Декабристы» Лабазов, слушая после возвращения из ссылки величественный перезвон сорока сороков, испытает вместе с автором «детскую радость от того, что он русский и что он в Москве».

Москва сопутствовала Толстому всю жизнь. Познание ее начинается Левушкой в одноэтажном особняке на Плющихе, откуда эн почти каждое утро в сопровождении сперва

добродушного немца Федора Ивановича Ресселя, а затем самовлюбленного француза Сен-Тома (Карл Иванович и Сен-Жером в «Детстве» и «Отрочестве») отправлялся на прогулку по Пречистенскому, Никитскому или Тверскому бульварам, исследовал лабиринт арбатских переулков.

Порой маршруты этих прогулок захватывали и народные гулянья под Новинским, на месте нынешней улицы Чайковского, манившие мальчика пестрыми балаганами, лихими качелями, вкусными запахами лотков и ресторации.

Потом был старый двухэтажный особняк с пилястрами, весьма надменно глядевший на Большой Каковинский переулок. Здесь Толстые прожили около трех лет, и события, изображенные в «Отрочестве», происходили именно в этом доме.

Юность писателя тоже приходится на Москву. Покосившийся флигель в Малом Николопесковском переулке и деревянный оштукатуренный «под каменный» мезонин на углу Сивцева Вражка помнят фрачного денди с уже чуть насупленными по-толстовски бровями» делившего досуг между балами, светскими визитами, карточной игрой за полночь, шумными поездками к цыганам в Козихинский переулок на Патриарших, гимнастическими занятиями в зале, верховой ездой в манеже и за городом, охотой.

Но было в ту пору и другое: книги из магазина Готье на Кузнецком, переводы иностранных авторов, чтобы «формировать слог», первые дневники — самому себе «отчет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от которых хочется избавиться». Был уже напряженный поиск «задушевной идеи и цели» жизни.

В Москве с особой силой пробуждались у Толстого в разные периоды неистовые противоречия его натуры — тяга к домашнему уюту, вкус к красивой мебели, комфорту, подаренные Николаю Ростову, Левину, Ивану Ильичу, и одновременно жажда вырваться из привычного круга дорогих, удобных вещей, освободиться от давления барской среды.

В Москве Толстой впервые пробует сочинять: в декабре 1850 года начинает «повесть из цыганского быта», через год — «Историю вчерашнего дня» и «Четыре эпохи развития». Первая рукопись осталась неоконченной и затем пропала, зато два других замысла нашли воплощение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Потому-то, быть может, Лев Николаевич впоследствии тепло вспоминал квартиру в Сивцевом Вражке и в эпилоге «Войны и мира» даже поселил в ней вышедшего в отставку Николая Ростова.

В конце 50-х — начале 60-х годов Толстой бывал в Москве нечасто, однако всякий раз находил здесь обильную пищу для

размышлений. А уж по насыщенности личными встречами его Москва тех лет едва ли уступит Ясной Поляне поздней поры жизни. Из Севастополя он возвратился автором, в котором видели надежду русской литературы и которого сам Тургенев признавал равным себе. «Двадцати шести лет, — отмечал Лев Николаевич в «Исповеди», — я приехал после войны и сошелся с писателями. Меня приняли как своего».

Аксаковы, Островский, Григорович, Хомяков, Фет, у которого на Малой Полянке собиралась вся литературная Москва и устраивались музыкальные вечера, Аполлон Григорьев, Погодин, Щепкин, Садовский, известные журналисты и издатели — таков круг постоянного дружеского общения молодого Толстого в Москве.

«Отдаюсь работе восемь часов в сутки, а остальное время слушаю музыку, где есть хорошая, и ищу хороших людей», — сообщал он дальней родственнице и другу А. А. Толстой.

Пылко увлекающийся и переменчивый, Лев Николаевич, случалось, забывал за работой про сон и пищу, порой же по целым дням не притрагивался к перу. Так, 24 мая 1856 года он с приятелями отправился в сад «Эрмитаж», помещавшийся тогда на Верхнебожедомской улице, вынес оттуда «впечатление тоски невообразимой» и, «не ложась спать, поехал на Воробьевы горы. Купался, пил молоко и спал там в саду…». К вечеру 25 мая Толстой был уже в Покровском-Стрешневе, на даче у своего будущего тестя А. Е. Берса, врача придворного ведомства.

Неудивительно, что памятные московские места во множестве присутствуют на страницах произведений писателя, а адреса его литературных героев — это, по сути, весь город, исхоженный Толстым вдоль и поперек.

Он, несомненно, прекрасно знал Тверской бульвар с домом Иогеля, у «которого были самые веселые балы в Москве», «большой белый дом с огромным садом князя Щербатова» на Девичьем поле, занятый в двенадцатом году штабом маршала Даву, Старую Конюшенную, где у Ахросимовой остановились по приезде в Москву Ростовы и откуда Курагин пытался похитить Наташу, Сокольники — «место поединка между Пьером Безуховым и Долоховым», Арбат, где Пьер собирался убить Наполеона, Ильинку, Моховую, Калужскую, Кудрино, Фили и, конечно, Красную площадь с «незаезженным снегом», кремлевские стены, башни, храмы.

Кремль упоминается Толстым особенно часто еще и потому, что с ним оказалась непосредственно связана судьба самого писателя — в Кремле жили Берсы. В 1862 году Лев Николаевич женился на их дочери и после венчания в дворцовой церкви

Рождества богородицы уехал с молодой женой в Ясную Поляну.

Москва, казалось, отодвинулась далеко. Впереди маячили необозримые контуры «Войны и мира».

Работа, семья, хозяйство. Триада эта на много лет становится для Толстого определяющей, сдерживая его душевные метания *и* сомнения. В Москве он появляется теперь лишь по делам: собрать материалы, переговорить с книгопродавцами, встретиться с художником М. Башиловым, иллюстрировавшим эпопею, наведаться на выставку скота в Зоологическом саду… В 70-е годы краткие наезды Толстого в Москву учащаются. Задуманный роман «Декабристы» требовал свиданий с оставшимися в живых участниками трагических событий на Сенатской площади. По* старевшими, но не сломленными возвращались последние члены тайных обществ из «глубины сибирских руд». П. Н. Свистунов, А. П. Беляев, М. И. Муравьев-Апостол, М. И. Бибиков — с ними беседовал Толстой в Москве.

Неожиданно его целиком захватила история женщины, пошедшей в любви наперекор обычаям и условностям света. История неприметно разрасталась в роман. «Анна Каренина» также печаталась в Москве, и писателю приходилось постоянно бывать в типографиях и у издателей.

Но не только. На заседаниях Московского комитета грамотности он доказывал, основываясь на собственной педагогической практике, преимущества буквенного способа обучения грамоте (который называл «способом народа русского») перед звуковым и, желая продемонстрировать сей метод, ездил в школу при фабрике Ганешина и к этнографу Бессонову, собирался, кроме того, организовать Общество любителей русского народного пения… Не чуждался еще тогда Лев Николаевич и публичных чтений в Обществе любителей российской словесности, действительным членом которого он был избран.

Существовала, однако, иная важная причина, все чаще обращавшая взор Толстого к Москве, — предстояло что-то предпринять для продолжения образования выросших детей. Поэтому после некоторых колебаний решили зимовать всей семьей в Москве.

Дом княгини С. В. Волконской находился «забор о забор» (выражение Толстого) с лучшей московской частной гимназией — Поливаковской — на углу Денежного переулка и Пречистенки. Его-то поначалу Толстые и сняли в 1881 году.

Вообще Лев Николаевич собирался отдать младших сыновей в государственную гимназию, но там от него потребовали

подписку о «благонадежности» поступающих. Возмущенный писатель заявил: «Я не могу дать такую подписку даже за себя, как же я ее дам за сыновей».

Увы, дом в Денежном переулке оказался слишком шумным, «как бы карточным» (меткое определение Софьи Андреевны), и для работы Толстой вынужден был снять две маленькие тихие комнаты во флигеле. Только весной следующего года отыскался подходящий дом в Долгохамовническом переулке. «Отцу нравилось уединенное положение этого дома и его запущенный сад размером почти в целую десятину (больше гектара)», в котором, «по его словам, было густо, как в тайге», — вспоминал Сергей Львович.

В июле состоялась покупка дома. Толстому к тому времени исполнилось 54 года, и он уже стоически нес бремя всемирной славы. Менять, пусть даже на зиму, устоявшийся уклад, сызнова обживаться в городе было нелегко. К тому же на Льва Николаевича навалилось множество забот по ремонту и перестройке дома, свидетеля наполеоновского нашествия и пожара Москвы. Большой семье Толстых, насчитывавшей тогда восьмерых детей, оказалось в нем тесновато, и над первым этажом надстроили три «высокие комнаты с паркетными полами», просторный зал, гостиную, диванную.

Ремонтировали полы и переходы, перекладывали печи и фундамент, перекрывали крышу, оштукатуривали и оклеивали обоями стены комнат, красили двери, рамы и весь дом снаружи. Софье Андреевне в Ясную Поляну непрестанно шли сообщения о плотничьих, штукатурных и малярных работах, о перегородках, форточках, о покупках новой мебели, экипажей, сбруи и т. п.

Племянница писателя Е. В. Оболенская в своих мемуарах рассказывает: «Лев Николаевич сам очень внимательно занялся устройством дома и его меблировкой. Сначала он делал это для того, чтобы облегчить Софью Андреевну, но потом сам увлекся. Он сам очень охотно по всем мебельным магазинам разыскивал старинную мебель красного дерева и покупал все с большим вкусом».

Вместе с ним приехали сыновья Сергей, Илья и Лев. Пока шел ремонт дома, они поселились в верхних комнатах флигеля. Толстому здесь нравилось: «Немного по-робинзоновски, но от этого только веселей». Не было ни повара, ни кухарки, завтракала в трактире, а обеды готовил дворник Василий Алексеевич, с которым Толстой любил беседовать вечерами на лавочке перед воротами усадьбы, где текла совсем иная жизнь, нежели в районе старых дворянских особняков между Поварской и Остоженкой. Возвращались домой по переулку ломовые извозчики, рабочие,

шагали в казармы солдаты…

Фабричные Хамовники окружали усадьбу со всех сторон. Прямо напротив — шелкоткацкая мануфактура братьев Жиро, справа — глухая кирпичная стена пивомедоваренного завода, чуть дальше — парфюмерная фабрика Ралле. Старые здания, как, впрочем, и потемневшие от времени каменные тумбы, к которым кучера привязывали лошадей, выщербленные плиты тротуара вдоль резного дубового забора с воротами, увенчанными широкой лентой деревянного кружева и резными же буквами Г и Т (граф Толстой), — все это сохранилось до дня сегодняшнего.

…Придите сюда от станции метро «Парк культуры», оставив позади стремительную эстакаду Крымского моста, и за сверкающим чудо-теремом Николохамовнической церкви у истока Комсомольского проспекта вам откроется тенистый проем улицы, носящей имя великого писателя, а там бережно сохраненный во всех красноречивых подробностях вещественный мир Толстого, его близких.

Когда ремонт был наконец окончен и в октябре 1882 года семья переехала до лета во вновь отстроенный дом, Лев Николаевич выбрал «для своего кабинета одну из комнат антресолей с низким потолком и окнами в сад».

Зимой площадку в саду перед террасой заливали водой и катались на коньках — и дети, и Софья Андреевна, и Толстой, ни в каких забавах не уступавший молодежи и даже отлично освоивший на старости лет езду на велосипеде. В застекленной беседке с колоннами, тут же, у площадки, Лев Николаевич любил посидеть весной и не раз брал сюда рукопись «Воскресения».

Поутру он обычно привозил на санках или на тележке десятиведерную бочку с водой от неблизкого колодца у заводской стены, а то и от реки (водопровода и электрического освещения в доме не было) и, наколов дров, разносил их ко всем печам дома.

Он сохранил в городе привычку к повседневному физическому труду. Со старанием тачал сапоги, часто работал с пильщиками дров на Воробьевых горах. «Это освежает меня, — говорил Толстой, — придает силы — видишь жизнь настоящую и хоть урывками в нее окунешься и освежишься».

Писатель не мог и не хотел затвориться за забором хамовнической усадьбы в тесном домашнем кругу. «Я живу среди фабрик, — писал он в трактате «Так что же нам делать?». — Каждое утро в 5 часов слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков…»

Уже в первой дневниковой записи Толстого в тот московский период мы читаем: «Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат.

Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию. И пируют…»

Морозным декабрьским днем 1881 года Лев Николаевич пошел смотреть самое страшное в Москве место — Хитров рынок. «При виде этого голода, холода и унижения тысячи людей я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся».

«Со мной случился переворот, — говорит Толстой в «Исповеди», — который давно готовился во мне и задатки которого были во мне всегда. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл…»

Смысл отныне заключался для него во всемерной помощи народу. И писатель шел с опросным листом общемосковской переписи в жуткие ночлежные дома Проточного переулка, уезжал работать «на голоде» 1891–1893 годов, окончательно убедившем Толстого в том, что «так продолжаться, в таких формах, жизнь не может», и что «дело подходит к развязке».

«Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать», — делился Лев Николаевич со своим другом, художником Н. Н. Ге. Эта неотступная потребность заставила его в 1885 году организовать в Москве издательство «Посредник», призванное регулярно выпускать для народа доброкачественные в художественном отношении и в то же время недорогие книжки и репродукции картин с подписями. Толстой помогал издательству в подборе произведений, находил новых авторов, публиковал здесь свои рассказы.

Сам он в те московские годы писал все же много, причем на самые жгучие темы. Страстная публицистика и «Холстомер», «Власть тьмы» и «Хаджи-Мурат», трактат «Что такое искусство?» и «Крейцерова соната» — вот лишь часть того, что Толстой обдумывал, писал или переделывал в Хамовниках (всего же здесь рождено около ста произведений!).

И вновь, как прежде, он черпает в Москве обширный творческий материал. В Бутырской тюрьме сидит Катюша Маслова; ее судят в Московском окружном суде; в жаркий летний день партия ссыльных совершает тяжкий путь от ворот тюрьмы до Николаевского (ныне Ленинградский) вокзала. Работая над романом, писатель встречался с семьями политических заключенных, изучал быт арестантов, посетил Бутырку и расспрашивал надзирателей о тюремных порядках, а 8 апреля 1899 года проделал с очередной партией ссыльных весь путь до

Николаевского вокзала.

Столь же тщательно проверял Толстой многочисленные факты из жизни заводских и фабричных рабочих, использованные им в «Рабстве нашего времени» и других статьях…

Мрачным, подавленным возвращался Лев Николаевич после этих поездок к себе в Хамовники. «Громада зла», с которой ему ежедневно и ежечасно доводилось сталкиваться, лишала сна и покоя, все больше отчуждала его от «беспечной» жизни семьи. Контора издания его сочинений, устроенная Софьей Андреевной во флигеле хамовнического дома, была Толстому «крайне неприятна». Писатель отказался от гонораров за свои произведения, написанные после 1881 года: «Что-то есть особенно отвратительное в продаже умственного труда. Если продается мудрость, то она, наверно, не мудрость». А жизнь эта между тем продолжалась целых девятнадцать зим. И выпадали в ней, разумеется, и светлые часы.

Толстой жаловался, что «ужасно устает» в городе, но тем не менее, стремясь быть в курсе последних научных достижений, посещал публичные университетские лекции, съезды естествоиспытателей и врачей, заседания Психологического общества, читал сотни книг и журналов на трех языках.

Неприятны ему теперь стали и театры, концерты, хотя полностью отказаться от них он не мог; и каждое из этих редких посещений являлось значительным событием как для артистов, так и для самого Толстого. Актриса Малого театра В. Н. Рыжова вспоминала: в ноябре 1895 года Лев Николаевич читал на труппе «Власть тьмы». «Мы сидели ошеломленные, очарованные его чтением… Потом начались репетиции, на которых его просили присутствовать. Поражала его простота, его необыкновенная деликатность и какая-то почти детская конфузливость. Он всегда приходил как-то незаметно в своей блузе и башлыке, пробирался тихонько в темный зрительный зал и смотрел, как мы репетировали».

Он из всего умел извлекать пользу. Постановки «Короля Лира» и «Гамлета» в «Эрмитаже» с участием знаменитого итальянского трагика Э. Росси пригодились в работе над статьей «О Шекспире и драме», а случайное посещение ученических репетиций оперы А. Рубинштейна «Фераморс» повлекло за собой первую главу трактата «Что такое искусство?». И считают, что именно чеховский «Дядя Ваня» на сцене Художественного театра побудил Толстого к созданию пьесы «Живой труп»…

Его с юности притягивала живопись, и в прежнюю свою бытность в Москве Лев Николаевич даже ходил на занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества, где обучалась его

старшая дочь Татьяна Львовна, и затевал подчас жаркие споры с преподавателями. В 80-е годы Толстой продолжал посещать выставки передвижников и иностранных художников в Третьяковской галерее, встречался с ее основателем. «В моей мастерской, стоя иногда перед начатой мною картиной, — рассказывал И. Е. Репин, — он поражал меня совершенно неожиданными и необыкновенными замечаниями самой сути дела; освещал вдруг всю мою затею новым светом, прибавлял животрепещущие детали в главных местах, и картина чудесно оживлялась…»

Нередко обсуждение новых работ переносилось в залу хамовнического дома, который всегда был полон народа. «Тут бывали и выдающиеся артисты Москвы — музыканты, композиторы и художники, профессора и ученые; видные иностранцы не только из Европы, но и из дальней Америки и Австралии, питерские фрейлины и сановники, губернаторы и прокуроры; молодежь — подруги и поклонники дочерей, товарищи сыновей. И рядом с каким-нибудь генералом свиты — другом юности Толстого — социалисты-революционеры, обреченные, быть может, на ссылку в Сибирь или вышедшие из тюрьмы, пострадавшие за свои убеждения последователи Толстого. Все, что в жизни и даже в фантазии казалось несовместимым, мирно встречалось здесь за большим чайным столом».

Так описывает традиционные субботние вечера в Хамовниках художник Л. О. Пастернак, иллюстратор толстовских произведений, которого Лев Николаевич ставил очень высоко, отец замечательного советского поэта Бориса Пастернака. Он подчеркивает при этом, что Толстой умел «как истый аристократ души каждому из посетителей сказать свое живое, то ласковое, то остроумное, то участливое, но всегда нужное слово».

Его услышал здесь однажды февральским вечером 1894 года и молодой служащий губернской библиотеки на Полтавщине, начинающий сотрудник провинциальных газет Иван Бунин.

За четыре года до Бунина в дверь толстовского дома с металлическим гербом города Москвы и надписью «Взаимное от огня страхование» постучался Горький.

«В вечер первого моего знакомства с ним, — писал впоследствии Алексей Максимович, — он увел меня к себе в кабинет, усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна»… Провожая, он обнял меня и сказал: — Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей. Но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего. Умные люди поймут».

* * *

19 сентября 1909 года Толстой навсегда покидал Москву.

Ночь накануне отъезда он провел в хамовническом доме, который принадлежал теперь одному из его сыновей. Прежде чем лечь, зашел, вероятно, в свой бывший кабинет на антресолях, присел к столу, как и в Ясной Поляне, огороженному с краю деревянной решеточкой, скрипнул жестким стулом, ножки которого когда-то сам подпилил, чтобы близоруко не наклоняться над рукописью (очки из упрямства так и не завел), и, возможно, вспомнил то последнее, что писал здесь, — суровые и горькие строки «Ответа Синоду» после отлучения от церкви в феврале 1901 года. Затем последовала опасная болезнь и настоятельный совет врачей не жить больше в городе. И вот жизнь приближалась к концу, а оставалось еще совершить самое трудное — уход…

Утром Лев Николаевич, не отступая от заведенного порядка, отправился на прогулку. А. П. Сергеенко, встретивший его на обратном пути, поразился «несоответствием между ним и городом». Один в безлюдном переулке, «он шел у высокой красной кирпичной стены пивоваренного завода и показался мне маленьким, жалким, как будто затерявшимся в городе-спруте».

…К полудню площадь перед Курским вокзалом запрудили многотысячные толпы народа. До вагона добрались с трудом. Лев Николаевич, которого едва не задавили в толпе, был бледен, но невозмутимо спокоен и, улыбаясь, любовался ловкими движениями молодых людей, взбиравшихся на столбы перронного навеса, чтобы лучше рассмотреть Толстого.

В купе он сел у открытого окна и весь ушел в себя, никак не реагируя на гул еще сильнее разбушевавшегося людского моря, выкрики: «Ура!.. Да здравствует!.. Слава!», магниевые вспышки над штативами фотографов и назойливое стрекотание киноаппарата. В открытое окно на колени ему упали цветы.

Чертков шепнул Толстому, что хорошо бы попрощаться с провожавшими.

— Да? Ну что ж, — ответил Лев Николаевич и, легко поднявшись, вышел в коридор к окну.

При виде его в воздух полетели фуражки, замахали платками. Толстой снял шляпу.

— Благодарю! Благодарю за… добрые чувства, — произнес он, и голос его дрогнул.

— Тише! Тише! Он говорит… — послышались возгласы.

Окрепшим голосом Толстой повторил:

— Благодарю… Никак не ожидал такого проявления сочувствия со стороны людей… Спасибо!

— Спасибо, спасибо вам! — восторженно отозвалась толпа. И при общем ликующем крике поезд тихо тронулся.

СЧАСТЛИВОЕ МЕЛИХОВО

«Красные ворота, широкий двор, низкие постройки… Расстилается луг. Влево — купа деревьев, прямая, как ремень, березовая аллея… «Какой наивный двор», — писал о нем Чехов. И правда, что-то милое в этих невысоких амбарах, строениях, конюшнях. Поражает изобилие изгородей, заборов, перегородок, плетней… Направо — одноэтажный, с затейливыми окнами дом с большой террасой, крытым переходом, соединяющим главное здание с пристройкой-кухней… Флигель — это тот самый маленький домик в саду, выстроенный самим Чеховым, в котором он жил и работал. Здесь написана «Чайка».

…Идем к дому. Навстречу выбежали две таксы… Точь-в-точь Хина и Бром… И казалось таким естественным, что вот сейчас выйдет и сам Антон Павлович и скажет, притворно сердясь на собак: «Хотите, подарю пса? Вы не поверите, до чего глупая собака!»

Но Чехов не выйдет… И собаки эти уже не те, и уже в доме не так, как было когда-то. Из вещей Антона Павловича остались здесь рояль да письменный стол, вот и все. Остальное вывезено в Ялту».

Таким увидели Мелихово накануне первой мировой войны поэт И. Белоусов и литературовед Ю. Соболев. Управлял тогда имением местный крестьянин Прокофий Симанов, тот, что был при Чехове здешним старостой и близким доверенным лицом во всех хозяйственных и общественных начинаниях писателя, а впоследствии — ревностным хранителем его памяти. Он и показывал прибывшим «чеховские владения». Их очерк, напечатанный в 1918 году в книжке «По родным местам», — первое описание Мелихова, появившееся после Октябрьской революции.

Скромное имение это в Серпуховском уезде Антон Павлович купил по объявлению в газете, не глядя, зимой 1892 года, вернувшись из своей героической поездки на Сахалин. После всего увиденного в путешествии им овладела жажда перемены обстановки. «Если я врач, мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангустом».

Из семи мелиховских лет две осени были отданы самоотверженной борьбе с холерой. Пять холерных бараков и два медицинских пункта организовал доктор Чехов на своем участке. В каждом медицинском пункте — в Крюкове (там теперь открыт филиал музея) и в Угрюмове — принимал больных дважды в

неделю. Дома, в Мелихове, — ежедневно, с 5 до 9 часов утра. Более тысячи больных за два месяца!

Едва отступила холера, занялся устройством сельских школ (в двух сохранившихся — в самом Мелихове и в Новоселках — также филиалы музея). С этого времени учитель делается непременным действующим лицом многих чеховских рассказов. Жалоба задавленного нуждой талежского учителя прозвучит в «Чайке». По своей инициативе, на свои деньги писатель строит в Талеже школу, описывая все тяготы строительства в повести «Моя жизнь». При этом он избегал упоминать, что за строительство Талежской школы был награжден орденом Станислава III степени. Новоселковскую школу Чехов строил в период обострения туберкулезного процесса, когда жизнь его буквально висела на волоске. А он еще шутил, что для содержания семьи ему достаточно трети гонораров, все же остальное требуется для оправдания «литературных привычек», в число которых Антон Павлович, помимо школ, включал и прокладку дороги от станции Лопасня, и открытие на станции почтового отделения, и возведение колокольни, пожарного сарая, и постоянную помощь крестьянам.

Молчаливыми свидетелями подлинных его литературных привычек были лишь неразлучный письменный стол и стены рабочего кабинета, где в эти годы создавался цикл шедевров на крестьянские темы: «Мужики», «Новая дача», «По делам службы», «В овраге». Брат писателя, М. П. Чехов, указывал, что на каждой их странице «сквозят мелиховские картины и персонажи». А «Дядя Ваня», «Палата № 6», «Остров Сахалин»!.. Все они тоже «мелиховские».

Устав, Антон Павлович выходил в соседнюю гостиную и, тихо прислонившись к двери, слушал, как поет под аккомпанемент кто-нибудь из гостей. Вечерами пламя керосиновых ламп освещало в маленькой гостиной матово поблескивающий бок рояля, точеный подбородок Лики Мизиновой и изможденный лоб Левитана. Пристроившись рядом с ним, Мария Павловна делала карандашом быстрые наброски собравшихся. А Павел Егорович настойчиво предлагал им отведать собственных разносолов, благо в Мелихове Чеховы впервые начали вести натуральное хозяйство, и душой его опять-таки являлся Антон Павлович, страшно гордившийся своим диковинным огородом «Юг Франции»…

Счастливый дом — так отзывались о мелиховской усадьбе те, кому довелось побывать здесь. Сюда добирались по бездорожью знаменитые столичные художники, артисты, поэты. Отсюда Чехов отправил более двух тысяч писем.

Он расстался с Мелиховым не по своей воле, но по настоянию врачей и рвался к нему из опостылевшей Ялты, с нежностью вспоминал о нем в предсмертные баденвейлеровские часы. Оттого-то, быть может, этот тихий уголок подмосковной земли олицетворяет для нас живой облик Чехова.

* * *

«Подвижники нужны, как солнце», — говорил Антон Павлович, и слова эти с полным правом можно отнести к небольшому отряду работников музея-заповедника во главе с Юрием Константиновичем Авдеевым, на протяжении десятилетий неустанно возвращающих нам чеховскую первозданность Мелихова.

…Юрий Константинович осторожно разглаживает ладонью пожелтевшие листы первых описей чеховских реликвий, которые были составлены под диктовку Симанова для комиссии по охране памятников старшим учителем мелиховской народной школы А. Грачевым. Это ему, временному хранителю вещей, вручили 28 мая 1919 года первую охранную грамоту на будущие музейные экспонаты — значительно более раннюю, чем на аналогичные вещи в Москве, Ялте, Таганроге.

Давно нет в живых первых хранителей и собирателей чеховского мемориала, но вещи пережили людей, обрели новую жизнь и обросли легендами. В 1960 году из районной больницы имени А. П. Чехова переехали в музей буфет, фарфоровый таз и стерилизатор, которые поступили в больницу из Мелихова в 1918 году. Совсем недавно при оборудовании филиала музея — «Медицинский пункт доктора Чехова» в Крюкове из той же больницы получено пять кресел, обитых кожей, и стоячая вешалка. Архивные документы подтвердили их принадлежность чеховскому дому. Пролежавшие более шестидесяти лет в архиве сопроводительные описи стали метриками, по которым хранители фондов музея заполняют теперь научные паспорта, превращающие эти непритязательные, казалось бы, предметы домашнего обихода в бесценные экспонаты. Жизнь им предстоит долгая…

Вообще история создания Мелиховского музея-заповедника примечательная.

Вот волнующий документ: «…Мы, члены сельскохозяйственной артели с. Мелихова, решили ходатайствовать перед районными и областными организациями

о реставрации флигеля и усадьбы Чехова в Мелихове, закупив и изготовив для этой цели строительный материал… Учитывая огромные заслуги Чехова перед крестьянами с. Мелихова в деле народного образования, мы просим райисполком и Мособлисполком присвоить имя Чехова мелиховской начальной школе, выстроенной на средства А. П. Чехова и М. П. Чеховой, повесить мемориальные доски на флигеле, в котором работал и жил Чехов, и на школе. Просим Лопасненский райисполком и Мособлисполком присвоить имя Чехова мелиховской сельскохозяйственной артели».

30.1.40 г.

До конца войны оставалось еще полтора года, когда в Мелихово был командирован демобилизованный по ранению Петр Иванович Ванаг. Он завязал переписку с Марией Павловной Чеховой, бессменной хранительницей ялтинского Дома-музея писателя. «Уважаемая Мария Павловна, — писал он. — Осенью 43-го года при крайне тяжелых условиях военного времени я и моя жена-педагог приступили к организации музея и библиотеки Антона Павловича в Мелихове… При содействии самой широкой советской общественности уже к 1 января 1944 года мне удалось привести в порядок парк и открыть во флигеле… музей, а в большом доме, перенесенном с усадьбы на другое место, перестроенном, библиотеку-читальню…»

Завершить создание музейной экспозиции Ванаг не успел. Обострилась болезнь, полученная на фронте. Вскоре он умер. Первая выставка «Чехов в Мелихове» открылась в 1950 году. Ни одного подлинного экспоната на ней не было, только фотокопии. Супругов Ванаг сменили Авдеевы, чтобы продолжить все начатое ими и поставить Мелихово в один ряд с Ясной Поляной, Спасским-Лутовиновом, Михайловским…

Знаменательное совпадение. Именно через Пушкиногорье шел Юрий Константинович к Чехову. Фронтовым художником попал он туда со своей частью зимой сорок четвертого. Ступая след в след за саперами, разминировавшими могилу Пушкина, его дом, видел пепел Михайловского и рисовал все, что видел.

Вчерашние фронтовики поднимали из руин памятники Отечества, «животворящие святыни» нашей духовной культуры. На усадьбе в Мелихове вновь застучали топоры — начиналось восстановление чеховского дома там, где он стоял когда-то.

— Главный архитектор реставрационной мастерской института «Моспроект» Афанасий Александрович Афанасьев обследовал каждый квадратный метр площади бывшей усадьбы, даже резные карнизы, уцелевшие в некоторых избах, —

рассказывает Ю. К. Авдеев. — Затем провели раскопки фундамента дома и печей. Циркулем вымерялись каждая деталь окна, каждый лист кровельного железа, порог террасы, и все вычерчивалось на отдельных планшетах. Работа оказалась настолько трудоемкой, что, кроме нас с Любовью Яковлевной, в ней стали принимать участие старшие дети архитектора, а их у него было одиннадцать человек…

К созданию музея мы привлекли также художника С. М. Чехова, племянника писателя. С помощью Марии Павловны он сделал планы дома, усадьбы и всего имения. Сами собой распределились роли в чеховской семье. Сестра Антона Павловича «царствовала» в Ялте. Вдова, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, шефствовала над его московским музеем. Ну а Сергей Михайлович посвятил себя Мелихову.

Архитектор Афанасьев умер, не завершив строительства основного дома. Трудности наваливались со всех сторон. Где теперь, например, возьмешь изразцы для голландских печей, а мы к тому же искали местные, изготовленные в Серпухове, в мастерской Ватутина. Нам повезло: ломали печи в особняках серпуховского знакомого Чехова — Троицкого. Материал был обеспечен, включая медные отдушины, чугунные заслонки. Отыскался и печник, в совершенстве владевший этим теперь уже забытым ремеслом.

Приступили и к поиску рассеянных по округе мемориальных вещей. В деревне Чирково жили бывшие учительницы Талежской школы сестры Бочковы. В архиве Чехова имелось только одно их письмо к писателю, личного знакомства между ними так и не произошло. Поэтому от встречи со старушками не приходилось ждать ничего особенного. Тем не менее Юрий Константинович отправился за шесть верст в Чирково.

Добрался к сестрам уже ночью, до нитки вымокший под дождем. Разговорились. «Кое-что осталось у нас на память», — неожиданно сообщили женщины и принесли книгу стихотворений С. Дрожжина с надписью в правом верхнем углу титульного листа: «Антон Чехов». «Это Антон Павлович в библиотеку школьную подарил… А вот вам визитная карточка», — простой прямоугольный кусочек картона и на нем четко в две строчки: «Антон Павлович Чехов».

Визитная карточка легла на зеленое сукно письменного стола, и Чехов как бы вновь стал хозяином мелиховской усадьбы. С тех пор все здесь подчинено его вкусам и желаниям.

А сам стол! У него своя эпопея. И Авдеевы в ней не последние действующие лица. Чехов привыкал к вещам» умел за ними ухаживать и не любил с ними расставаться. Стол же значил для

него особенно много.

5 марта 1889 года, из письма А. А. Суворину: «…Меня захватило, и я почти не отхожу от стола. Между прочим, я купил себе новый стол». То был первый письменный стол, приобретенный писателем по собственному вкусу. С ним он переехал в 1891 году на Малую Дмитровку, а в 1892 году — в Мелихово. Там стол путешествовал из комнаты в комнату, из дома во флигель и обратно, пока в 1899 году не отправился следом за хозяином в Ялту.

А. П. Чехов — М. О. Меньшикову 20 октября 1899 года: «Теперь у меня перестали стучать, стол мой на своем месте, и я могу работать». Брат писателя Михаил Павлович отмечает, что за этим столом, перевезенным из Мелихова, созданы все лучшие чеховские произведения с 1892 по 1899 год включительно. Новый стол, посланный, по сообщению Марии Павловны, в Ялту из Москвы 5 мая 1900 года, понадобился, очевидно, потому, что более подходил интерьеру просторного, недавно отстроенного дома, в котором не хватало мебели. Когда Чехов приезжал по делам из Ялты в Москву, он и там хотел иметь только свой, а не чужой, взятый напрокат письменный стол.

Ныне мелиховский стол вернулся на прежнее законное место, и если говорить о подлинных вещах Антона Павловича, их культурной ценности и эмоциональном воздействии на посетителей музея, то главным экспонатом, безусловно, является этот неповторимый письменный стол, служивший Чехову почти 12 из 25 лет его литературной деятельности…

«Не будьте педантами! Создавайте чеховское настроение» — этими словами напутствовала Мария Павловна чету Авдеевых, приехавшую к ней за консультацией. Напутствовать напутствовала, но и одарила щедро. Из Ялты они увозили целую экспозицию. Со станции в Мелихово шли пешком (дороги еще не было, транспорта тоже). На салазках тащили тяжеленный чемодан, а в рюкзаке за плечами — гипсовые слепки, служившие в мелиховские годы МаПа (так шутливо звали Марию Павловну близкие) наглядными пособиями для занятий рисунком. «Черт знает, какие Чеховы все талантливые», — говорил Левитан, глядя на ее работы.

Первый дар хранительницы Ялтинского дома-музея писателя был приурочен к музейной премьере в Мелихове. 15 июля 1954 года по решению Всемирного Совета Мира и ЮНЕСКО широко отмечалось 50-летие со дня смерти А. П. Чехова. В этот день у ворот усадьбы, на большой поляне, окаймленной тенистыми вязами, прямо на земле расположились колхозники и молодежь из соседних сел. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР

Лопасненский район был переименован в Чеховский, а рабочий поселок Лопасня — в город Чехов. Тот год можно считать началом популярности Мелихова.

Начались и подарки новому музею. Первой явилась на свет корзина, с которой Антон Павлович ездил на Сахалин. Ольге Леонардовне обшитая кожей корзина приглянулась, и актриса брала ее в дальние заграничные вояжи.

В своих воспоминаниях вдова Чехова писала: «Три чудесных весенних солнечных дня провела я в Мелихове… Все там дышало уютом, простой здоровой жизнью… Антон Павлович, такой радостный, веселый… показывал свои «владения»: пруд с карасями, которыми гордился… огород, цветник. Он очень любил все, что дает земля…» Второй раз Ольга Леонардовна навестила Мелихово в августе 1957 года. «У меня нет слов от воспоминаний», — записала она в книге отзывов. И прибавила: «Антон Павлович был бы доволен…»

Прошли годы. Давно восстановлен и успел состариться мелиховский дом. В него переселились от ближайших родственников писателя вначале сотни, а потом тысячи семейных реликвий. Более трех миллионов посетителей побывало здесь за 30 лет. Возрожденное Мелихово превратилось в традиционное место паломничества кинематографистов, литераторов, ученых. А неутомимая чета подвижников со своими верными помощниками по-прежнему благоустраивает усадьбу, открывает новые филиалы, охотится за новыми экспонатами.

Вот и сейчас в московской квартире внучатого племянника Чехова, где мы очередной раз беседуем, Юрий Константинович и Любовь Яковлевна бережно перебирают давно присмотренные ими рукописные материалы, которые вскоре составят часть фондовых поступлений музея.

Между прочим, среди его мемориальных экспонатов не только вещи, но и растения. И едва ли не интереснейшее — сахалинская гречиха, подаренная Чехову архитектором Ф. О. Шехтелем. Тогда сто семян сахалинской гречихи продавали за четыре рубля (дойная корова стоила немногим больше). Сколько трудов положили Авдеевы, чтобы она снова зацвела на усадьбе вместе с любимым чеховским огородом, собственноручно посаженными им берлинскими тополями, кольцом вязов на поляне и массой цветов тех самых сортов, о которых Антон Павлович и его сестра рассказывают в письмах.

* * *

Мелкий осенний дождь зарядил с утра и шел весь день не переставая. Он обволакивал влажным пологом листву в мелиховских аллеях, лоснил кожаный верх старой пролетки, сплетая круги на темной глади укромного пруда. А люди, очень много людей, местных и приехавших издалека, растекались по узким дорожкам усадьбы от призывно поскрипывающего половицами одноэтажного деревянного дома к флигелю «Чайки». И торжественные музыканты в мокрых фраках встречали их у бронзового бюста писателя…

Суббота середины сентября не связана с какой-то датой жизни Чехова. И тем не менее отныне это — Чеховский праздник.

Но почему именно сентябрь? Просто осенью Антон Павлович обычно бывал дома, в Мелихове, — возился в саду, лечил крестьян, строил школы, писал.

— А какая пора здесь самая лучшая? — спрашиваю я у Авдеевых. Они переглядываются и улыбаются.

— Лучшее время года у нас апрель и май, когда распускаются леса. Это слова Чехова, — говорит Юрий Константинович. — Лето пышное, красивое, множество цветов, деревья гнутся под тяжестью плодов. Тоже хорошо! Осень слегка грустная, с яркими кленами, с золотящимся вдали лесом. Красиво, аж дух захватывает… А еще лучше зима. Чехов в первые дни после переезда в Мелихово писал: «…снег, голые деревья, а представьте себе, скуки нет. Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне».

— Космическое какое-то ощущение, — продолжает Ю. К. Авдеев. — Чистота идеальная в природе. В Москве никогда вы такого снега не увидите. И птицы все равно голос подают. Ворон у нас столетний, наверно, во дворе живет и все «ка-р-р» с верхушки, «ка-р-р». Синицы кругом, чижи огромными стаями вьются… Тоже ни с чем не сравнимая пора. Так что все времена года в Мелихове хороши, все чеховские…

INFO

Адрес редакции:
125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а.

Юрий Иосифович ОСИПОВ
МЕЗОНИН ПОЭТА

Ответственный за выпуск Б. Рябухин
Редактор О. Русецкая
Художественный редактор Г. Комаров
Технический редактор Н. Александрова
Корректоры Е. Сахарова, И. Ларина

Сдано в набор 14.08.85. Подписано в печать 07.02.86. А 08052. Формат 70x108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Условн. печ. л. 4,2. Усл. кр. отт. 4, 72. Учетно-изд. л. 5,0. Тираж 75 000 экз. Цена 15 коп. Издат. № 1577. Заказ 5—293.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38–42.

.....

FB2 — mefysto, 2022

15 коп.

Молодая гвардия